ISSN 0131—0097

ОГОНЁК

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА», МОСКВА
№ 10 МАРТ 1989

СВЕТ ДОБРОТЫ

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!





ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

Основан 1 апреля 1923 года

№ 10 (3215)

4—11 МАРТА

НА ПЕРВОЙ СТРАНИЦЕ ОБЛОЖКИ: *главная медсестра Клайпедской городской больницы Она Миталене с детьми из Армении. (См. в номере материал «Сестра Онуте».)*

Фото Марка ШТЕЙНБОКА

Оформление В. В. ВАНТРУСОВА при участии Г. Н. СИДОРОВОЙ

ПОДПИСКА НА «ОГОНЕК» ПРИНИМАЕТСЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ ДО ПЕРВОГО ЧИСЛА ПРЕДПОДПИСНОГО МЕСЯЦА.
Цена подписки на год — 20 руб. 76 коп., на полгода — 10 руб. 38 коп., на квартал — 5 руб. 19 коп.

Сдано в набор 13.02.89. Подписано к печати 28.02.89. А 08824. Формат 70×108⅛. Бумага для глубокой печати. Глубокая печать. Усл. печ. л. 6,3. Усл. кр.-отт. 14,35. Уч.-изд. л. 11,55. Тираж 3 200 000 экз. Заказ № 173. Цена 40 копеек.

Адрес редакции: 101456, ГСП, Москва, Бумажный проезд, 14.

Телефоны редакции: Для справок: 212-23-27; Отделы: Публицистики — 212-21-88; Международный — 212-30-03; Литературы — 212-63-69; Искусства — 212-15-59; Морали и писем — 212-22-69; Фото — 212-20-19; Секретариат — 250-46-98; Литературных приложений — 212-22-13, 212-23-07.

Телефакс (международный) (095) 943-00-70
Телетайп (внутрисоюзный) 112349 «Огонек»

Рукописи объемом более двух авторских листов не рассматриваются.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865, ГСП, Москва, А-137, улица «Правды», 24.

СЕСТРА

ЕСТЬ У НЕЕ И ЗАВИСТНИКИ. ОСОБЕННО ТЕПЕРЬ, КОГДА НЕОЖИДАННО «ВЫШЛА В ЛЮДИ» — ИЗБРАНА КАНДИДАТОМ В НАРОДНЫЕ ДЕПУТАТЫ СССР ОТ СОВЕТСКОГО ФОНДА МИЛОСЕРДИЯ И ЗДОРОВЬЯ. НО НЕ ПРИПОМНЮ, ЧТОБЫ О ЧЕЛОВЕКЕ ТАК ДРУЖНО И ИСКРЕННЕ ГОВОРИЛИ ТОЛЬКО ХОРОШЕЕ. ОСТАЛОСЬ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧТО ТАК СЧИТАЮТ ВСЕ В КЛАЙПЕДСКОЙ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЕ, ГДЕ ПОД НАЧАЛОМ ОНЫ МИТАЛЕНЕ ПОЛТОРЫ ТЫСЯЧИ МЕДСЕСТЕР И САНИТАРОК. НЕСМОТРЯ НА ОФИЦИАЛЬНОСТЬ ОБЩЕНИЯ В ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, К НЕЙ ЧАЩЕ ВСЕГО ОБРАЩАЛИСЬ ЛАСКОВО — ОНУТЕ. ПО-РУССКИ — АННУШКА.

Фото Марка ШТЕЙНБОКА

МОЯ УЧИТЕЛЬНИЦА

Отец ее — старый Антанас так говаривал о своих четырех девочках: «Три дочери у меня и один сын — любимый». «Любимый» была Онуте. Она не только ласковая была, доброта ее уже в детстве оказалась действенной. Помощник по дому — первоклассный, но и по хозяйству хуторскому многое умела — и мужской работы не чуралась.

— Ум у нее мужской,— говорит главврач больницы Винсас Янушонис,— логика — позавидуешь! Говорит кратко, вразумительно. Пишет прекрасно — около десяти статей в научной печати. Лекции читает, заслушаешься.

Она заводилой была, когда переходили в больница... бригадный подряд. Даже элементы хозрасчета внедрили. Вместе с главным врачом проводит ежемесячные конференции больных. Разговор идет начистоту, душевный. Выясняется, как довольны пациенты лечением, уходом, пищей, контактами с персоналом, то есть общением.

Манера «воспитывать» у главной медсестры завидная — ругает с глазу на глаз, хвалит принародно.

— Строга, но справедлива,— говорит старшая медсестра Ядвига Жаврид,— а справедливость в том, что, как бы ни был кто виноват, никогда Онуте не оскорбит человека, не унизит его человеческого достоинства. Щадит его даже в разгильдяях.

— Бывает и с мокрыми глазами от нее уходят,— дополняет старшая операционная сестра Зита Тиминскене,— но то — слезы стыда, а не обиды.

Сегодня городская больница — комбинат, целый городок вырос на окраине Клайпеды. Растут новые корпуса. Причастна к этому и Миталене. Только при ее авторитете можно было уговорить людей помочь в новоселье, подгадавшее под Новый год. Помнит это и бывший главврач, ныне министр здравоохранения Литвы Антанас Винкус. Когда одно совещание проводил, поздоровался со светилами медицинской науки и организации лечебной работы, а потом подошел к Онуте, поцеловал руку и представил: «Моя учительница».

ПРОФЕССИЯ — МИЛОСЕРДИЕ

Научить милосердию нельзя. Оно заложено в человеке. Признают же некоторые ученые гены альтруизма. Впрочем, бескорыстная забота о благе дру-

ОНУТЕ

гих, готовность жертвовать личными интересами ради общих противоречат дарвинистской теории о борьбе за выживание. Но человек, быть может, и отличается от остального живого милосердием?

Вспомнилось. В послевоенном Таллинне населению предложили приютить детей, оставшихся живыми в оккупационном концлагере. Пришла женщина с сыном, предупредила, чтобы самую симпатичную себе в сестренки он выбрал. Ответ шестилетнего Человека поразил: «Надо некрасивую взять». На вопрос «Почему?», ответил: «Красивых и так возьмут».

Миталене согласна: «Милосердие не купишь». Совсем недавно на ее приглашение собраться и создать в больнице группу содействия милосердию пришло всего 25 человек. Из 2500 медперсонала. Многие сокрушались: маловато. Онуте, наоборот, была вполне довольна. Собравшиеся представляли почти все подразделения больницы и поликлиник. Пришли не группами, не сговариваясь — по совести.

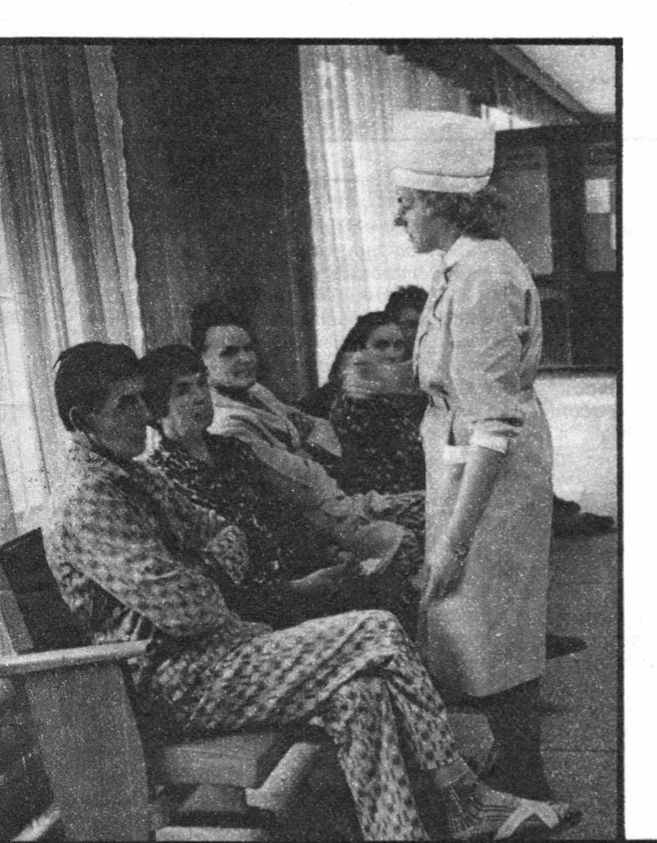
— Значит, самые надежные,— размышляет собеседница,— с такими на деле можно людям помогать, а не толковать об этом. Но нельзя сказать о всех непришедших, что они безразличны к чужому горю. Скольких людей мы знаем, которые не могут видеть крови, открытую рану. Не из брезгливости — из сострадания. Но сочувствием горю не поможешь. Надо уметь делать добро. Милосердие — конкретно.

Важно помочь вовремя. Иначе отчего сегодня даже в больнице одинокие престарелые кончают жизнь самоубийством? Психологи утверждают: не было никого рядом в критический миг. Не было рядом... Ее студентки из медучилища писали отчет о практике в больнице. Надо было установить, есть ли у пациентов «своя сестра». Как правило, ее нет, хотя рядом мелькают люди в белых халатах. «Разве попросили бы меня, практикантку, писать письма, если бы была «своя сестра»?» — так писала одна из девушек.

— Наши сестры — профессионалы,— размышляет Онуте.— По службе все делают вовремя и как надо. Но я напоминаю, не только таблетка лечит. Внимание — тоже. Ну, выслушай ты раз больного, что у него на душе. Для меня все они — святые. Не надо ласки, но внимание окажи. Раньше нас называли сестрами милосердия, теперь — медицинскими. Вот она, разница, примета времени! Потому и пациент часто воспринимается, как «оно».

Тут я поймал было на слове саму Миталене. Она сказала, что милосердие должно быть в дефиците, чтобы не обесценивалось. Но Онуте парировала: «Милосердие не разменная монета. Оно только высшей пробы, если уж имеется. Беда в другом: даже оптимальный минимум милосердия, который, как и озоновый слой атмосферы, охраняющий жизнь на Земле, стал разрушаться, исчезать. Люди озлобились, стали стесняться быть добрыми, дети показывают пальцем вслед инвалиду на костылях, хихикают. Откуда это? Пора заняться и нравственной экологией».

Все это заставляет задуматься. Надо что-то делать. Вспомнили о своих же врачах, ушедших на пенсию. Среди них такие известные, как доктора Вул и Михайлова. Первой акцией стало анкетирование. Узнали, в чем больше всего нуждаются ветераны. Самым дефицитным оказалось внимание. А пострадавшие от землетрясения в Армении? Часть из них разместилась рядом, на курортах Паланги. Люди живут в уюте, но вдали от родной земли. И общение с местными жителями для них так же полезно, как и физиотерапия. Вот и поехала Онуте на свидание с ними.





О МЕДИЦИНЕ БЕЗ МИЛОСЕРДИЯ

Как-то Миталене «прорабатывала» одну сестру за неряшливость. Разговор был семейный. Слушала-слушала наставницу собеседница, да и выпалила в слезах все, что накипело. Оказывается, работая по направлению, девушка не имеет прописки. Что там про жилье говорить, книг она не может в библиотеке взять — нет штампа в паспорте, а покупать... Да на 85 рублей она еле-еле концы сводит. Грустно стало Миталене.

Милосердие, долг — все это прекрасно. Но нельзя выезжать только на этом. Любой руководитель, если он действительно хозяин, прежде чем спросить с подчиненного, создаст нормальные условия труда. Это — аксиома. А в наших больницах?

И снова Миталене: «Смешно, впрочем, до смеха ли, когда талдычим об одноразовых шприцах, а наладить их выпуск не можем. Зато министры упражняются во взаимных упреках. Трудности и с лекарствами. Там, где дефицит, там и спекуляция. Спекулируют на горе, надежде. Проблема с санитарками. У нас трети их не хватает. За них сестры работают. Заработки, конечно, выросли, но и изматывается сестра больше. Рабочий день уже не восьмичасовой. А дом, семья? Забывается, что медицина — это не только обслуживание населения. Это труд, тяжкий труд. И медсестра или санитарка — не обслуга. Они — труженики, те же трудящиеся».

Вынуждая медсестер выполнять обязанности санитарки, мы девальвируем их престиж, невольно снижаем их квалификацию. В Соединенных Штатах, это Миталене вычитала в научном журнале, на одного врача приходится шестнадцать сестер. В Клайпедской больнице — в пять раз меньше. К тому же наша медсестра обслуживает в два раза больше больных, чем предусмотрено нормативом.

Недооценивается и важность послеоперационного периода. Спасают больного на операционном столе, а он погибает потом в палате. Не по халатности — из-за недостаточного ухода. И это считается малым ЧП по сравнению с неудачей хирургической бригады.

Да, разрешили родственникам ухаживать за тяжелобольными. Но какие они наутро работники? Да, появились добровольные помощники из общества душепопечения. Но за счет них все вопросы не решить. Общество, государство должны понять, что такая экономия расточительна. Она со временем оборачивается снижением здоровья нации. С того ли конца решаем проблемы?

— Рассуждать легко. Ваши предложения? — сказали Миталене как-то на встрече с клайпедчанами.

— Выходы из ситуации изложены в ее предвыборной платформе,— говорит доверенное лицо кандидата в депутаты, заместитель главного врача Витаутас Рауба.

Упорядочение зарплаты — раз. «Тоже открытие!» — возразит скептик. Но «главная» смотрит глубже. Во-первых, надо дифференцировать оплату. Не случайно на самых трудных участках — в хирургическом и травматологическом отделениях — медсестры выдерживают три года, после чего уходят "на заслуженный отдых» в поликлинику. Должностные оклады при этом существенно не разнятся. Во-вторых, доходы работников медицины, как и любой другой «интеллигентной» профессии, должны быть выше среднего по стране. Не обязательно повышать зарплату всем врачам, кое-кому можно ее и снизить. Наше заскорузлое представление, что люди труда важнее всех в обществе, так как они производят материальные ценности, обернулось бедственным положением для нашей «самой бесплатной» в мире медицины. И только ли этой отрасли социальной сферы?

Димитрий КЛЕНСКИЙ

Клайпеда,
Литовская ССР



ДВОЙНЯ «КОРМИЛЬЦЕВ»●
ИКРА ИЛИ ПИЩЕВАЯ СИНТЕТИКА?●
ПЛАВУЧАЯ ТЮРЬМА●
БИЛЕТ НА КАТОК●

■

Верим, что идея Мемориала Совести на сей раз действительно реализуется.

Оптимальным местом для центрального Мемориала нам видится (верим, не один Знак памяти будет в стране) сквер, расположенный в треугольнике: проспект Маркса — площадь Дзержинского — улица 25 Октября (выше памятника первопечатнику Ивану Федорову).

Мы понимаем, что лучшие скульпторы и архитекторы сочтут за честь быть причастными к созданию Мемориала, и не хотим давать им никаких советов, но хочется напомнить о том, что подобные скорбные памятники жертвам террора в странах Европы имеют подземную часть, чтобы там можно было поставить саркофаг с останками погибших в лагерях. Там же люди могли бы увидеть копии проскрипционных списков с подписями Сталина и его сатрапов, другие документы...

Мемориал не просто памятник, он дот на пути тех, кто хотел бы повторения сталинизма. Вот почему избранное для Мемориала место имеет принципиальное значение.

Камил ИКРАМОВ,
писатель,
Леонид МИЛЬГРАМ,
учитель

■

Меня зовут Мелисса Фавро, в данное время я стажируюсь на факультете журналистики МГУ. Обращаюсь к вам в связи с проблемой, которая достаточно актуальна в вашей стране. По роду своей деятельности я должна внимательно читать советскую периодическую печать. И хотя мы с подругой являемся подписчиками вашего журнала, очень часто мы его не получаем: либо «Огонек» вообще не доставляют, либо приносят с большим опозданием.

Это сильно затрудняет нашу работу, так как мы лишены возможности знакомиться с наиболее интересными публикациями очень популярного журнала.

Иногда нам также не доставляют газету «Московские новости». В киосках, как известно, эти издания приобрести невозможно. Так что же нам делать?..

Мелисса ФАВРО
Москва

■

В печати часто пишется о плохом качестве хлеба. Особенно после того, как повысилась его цена. Объяснили, что цена повысилась вследствие улучшения его качества, но это же неверно.

Якобы для улучшения качества хлеба в муку вводятся различные витаминизированные добавки. А нужны ли они? Кто это определял? Ведь качество хлеба становится все хуже и хуже. Хлеб быстро черствеет, плесневеет, приобретает прогорклый вкус и неприятный запах на следующий же день после выпечки. Одним словом, становится непригодным не только в пищу человеку, но и на корм скоту. Поэтому появляются его отходы. Много хлеба просто выбрасывается.

Я знаю цену хлеба. Помню голод 1933 года, прошел войну, пережил голодные послевоенные годы. Видел блокадных ленинградских детишек, сгребавших в ладошки и отправляющих в рот каждую хлебную крошку.

Сердце кровью обливается, когда приходится выбрасывать хлеб, ставший непригодным в пищу. А сколько же приходится выбрасывать хлеба в стране? Ведь это колоссальное количество.

Если принять, что на одного человека в день выбрасывается 100 граммов хлеба (а практически больше), то на все население страны придется 28 тысяч тонн. А за год это составит около 10 миллионов тонн! Вдумайтесь в эти цифры!

По сведениям Госкомстата СССР (газета «Правда» от 22 января 1989 года), всего произведено в 1988 году хлеба и хлебо-булочных изделий 32 миллиона тонн.

Следует, что одна треть выпеченного в стране хлеба выброшена. К счастью, у нас нет пока дефицита на хлеб, но каким путем это достигается? Ведь страна вынуждена покупать зерно за валюту за границей.

Товарищи! Что же мы делаем? Мы ведь таким хозяйствованием развалим нашу страну.

Неужели правительство не может принять действенные меры по повсеместному улучшению качества хлеба и, таким образом, рациональному, без потерь, его использованию? Считаю, что к нерадивым хозяйственникам, допускающим выпуск некачественного хлеба, пора применять самые строгие меры административного и уголовного воздействия.

О. А. ВОРОНЕНКО,
ветеран войны
Феодосия

■

Можно ли представить вот такую странную ситуацию в магазине? Вы сделали покупку с заранее обозначенной и достаточно известной ценой по прейскуранту. Направляетесь к кассе рассчитываться, а вам с эдакой милой, застенчивой улыбкой сообщают: цена на ярлыке хоть и обозначена, да платить придется немного дороже...

Скажете, не может быть? Может. Именно по такому принципу «обслуживает» своих клиентов Министерство связи СССР, вернее, подведомственные ему междугородные телефонные станции. Мне потребовалось позвонить в Торонто. Набираю стол международных заказов и прошу предоставить разговор продолжительностью в одну минуту, предварительно выяснив его стоимость — 6 рублей.

Заказ приняли и в обусловленный час предоставили. По секундомеру разговор с моим заокеанским абонентом занял 78 секунд. «Будете платить как за три минуты»,— тут же включилась телефонистка.

Получить объяснения этому странному факту не удалось — невидимая фея из коммутаторного зала так же внезапно растаяла в эфире, как и появилась. Беседую с главным инженером Киевской междугородной телефонной станции В. Подгорной.

— Да, согласно действующему тарифу вы обязаны оплатить минутный разговор как трехминутный,— сообщила Валентина Михайловна.

Задаю «нахальный» вопрос:

— А почему я «обязан» переплачивать? Ведь меня об этом никто не предупреждал.

— Потому что предоставленную вам услугу выполняла телефонистка.

Я не унимался:

— Ну и что? Это же ее служебная обязанность. За что все-таки взимается переплата?

Но дальнейший разговор был излишним. Ничего вразумительного тов. Подгорная сообщить не могла и порекомендовала обратиться за разъяснениями в Минсвязи УССР.

Член коллегии республиканского министерства А. Стеценко тоже удивился вопросу.

— Положено, значит, надо платить,— резюмировал он.— Не мы же устанавливали такие расценки.

Правда, тов. Стеценко в конце концов великодушно согласился, что, взимая с абонента вместо шести рублей восемнадцать, министерство нарушает социальную справедливость.

С чьей же легкой руки связисты беззастенчиво запускают руку в карман своей клиентуры? Найти творца столь удобных для ведомства тарифов оказалось не так уж сложно. В Минсвязи УССР мне показали «Правила пользования междугородной и международной телефонной связью», введенные союзным министерством 19 июня 1984 года. На этот счет имеется специальный приказ министра связи СССР от 7 декабря 1983 года.

Мне представляется данный приказ незаконным. Как может уважаемое ведомство требовать с клиента деньги за то, чем он не воспользовался?

Л. ГАЛИНСКИЙ,
журналист
Киев

■

Преподавание курса «История СССР» в 9—10-х классах заставляет нас взять на себя ответственность за то, каким выйдет в жизнь подрастающее поколение — свободным, гордящимся нелегкой судьбой Родины и достаточно мужественным, чтобы продолжить дело строительства социализма, или же изверившимся, озлобившимся, опустошенным, замкнувшимся в узком мирке личных интересов. На наш взгляд, решающим в деле воспитания юношества сегодня является воспитание гражданственности и снятие всех запретов на пути к исторической правде.

Сложность задачи, стоящей перед нами, усугубляется практически отсутствием базовых учебников по курсу. Существующие учебники для 9—10-х классов на сегодня безнадежно устарели, выраженная в них концепция отечественной истории советского периода насквозь догматична и по сути своей продолжает концепцию сталинского «Краткого курса». Мы считаем нецелесообразным обещанное в 1989 году переиздание этих учебников «с исправлениями и дополнениями» и предлагаем перейти от продолжительных бесед о необходимости нового учебника по истории СССР к решительным мерам по его созданию. Нам представляется неправомерным следовать расхожему мнению о том, что наука еще не способна выработать цельную концепцию истории советского общества. Прослушанные лекции известных ленинградских ученых убедили нас в возможности построения концепции отечественной истории, максимально приближающей нас к правде. Некоторые ученые (проф. Старцев В. И., доц. Островский В. П. и другие) открыто говорили нам о готовности ленинградской исторической школы к решению этой задачи.

Мы просим Государственный комитет СССР по народному образованию дать «зеленую улицу» создателям нового учебника и берем на себя проведение эксперимента по обучению на его основе. Если Государственный комитет СССР по народному образованию не располагает средствами для такой работы, то мы готовы поддержать это начинание материально.

Е. ПОТЕМКИНА,
С. СЕМЕНЧА,
Л. ЧЕРКЕСОВА,
Ю. ЖУКОВА
и другие преподаватели
и студенты
Ленинград

■

Полтора года назад в нашей семье произошло счастливое событие: родилась двойня. Вместе с радостью на нас свалились большие трудности и физические (живем без бабушек), и материальные. Все знают, что в течение года после рождения ребенка мама получает пособие — 35 рублей. Как вы думаете, сколько получает мама, у которой родились

двойняшки,— 70 или хотя бы 50? Не угадали. Те же 35 рублей. А у которой тройняшки? Тоже 35. Так и записано в законе: независимо от количества родившихся детей. Вот если бы при этом мне в магазине можно было платить независимо от количества товаров!

Однако, подскажут знающие люди, если ваш доход оказался менее 50 рублей на человека, вы можете получать пособие на детей в размере 12 рублей (на каждого!). Но и здесь все непросто. Во-первых, это пособие назначается почему-то только с начала года. Во-вторых, на основании справок моей и мужа о зарплате за прошлый (?!) год. Но в прошлом году я еще работала и доход наш был выше, поэтому в этом году, оказавшись без средств, я не имею права на пособие. Какая логика!

Летом малышам исполнился год, наши 35 рублей перестали поступать, и вторую половину года я с тремя детьми (у нас еще дочь 11 лет) ничего не получала. Зарплата мужа — 240 рублей, и слава богу, что он жив-здоров.

Л. ПАВЛОВА,
артистка оркестра
Киев

■

Закончилась Всесоюзная перепись населения, но оставила много вопросов.

Когда в январские дождь и слякоть приходят к вам вечером уставшие симпатичные девушки-женщины с огромными сумками, набитыми анкетами, то, честное слово, чувствуешь себя неуютно за род мужской и хочется в первую очередь напоить их чаем, а не отвечать на вопросы... Но вопросы есть, интересные хотя бы своей непонятностью. Например, заканчивали ли вы ПТУ?

И вопрос, на мой взгляд, для части населения не просто бессмысленный, но и издевательский: занимаемая жилплощадь? Снимаешь ли ты угол, живешь ли в общежитии или любые другие варианты вплоть до квартиры, в которой живут одна или несколько семей,— в анкете указывается 29 м² и 19 м² или еще сколько там. В чем же смысл этого пункта? Не лучше ли — и честнее,— если бы вопрос выглядел так: «Есть — нет — квартира?» И добавить еще один. За него не пришлось бы краснеть перед нашими недоброжелателями, так как в силу своей специфичности смысл вопроса не переводится на иностранные языки: «Есть — нет — прописка?».

Или удобнее путем такого опроса вывести среднестатистическую (читай: для многих мифическую) жилплощадь на каждого гражданина СССР? А ведь там, где все, «как все», сам собою напрашивается общий знаменатель, имя которому — обезличка, то есть средний, средняя, среднее. Средняя продолжительность жизни, средний уровень потребления (я и директор гастронома), средний выпуск на душу населения (очень хотелось бы знать, учитывается ли сама душа при этом и чьи именно учитываются), средняя зарплата, средний балл. Даже школа — средняя. А сейчас, как я понимаю, и средняя жилплощадь.

Не слишком ли много среднего? И в частностях, и в общем. Эти «средний, средняя, среднее» не только обезличивают каждого из нас, «средних», но и подводят очень удобную базу для провозглашения всеобщей заботы и всеобщей любви в целом всех «средних». Да, любим человечество, но не любим никого конкретно. Не является ли один из пунктов анкеты Всесоюзной переписи населения подтверждением этого?

Э. Т. ЕРЕМЕЕВ
Минск

■

Спешу поделиться радостью: мы, ветераны труда, награжденные в годы войны медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», получили продуктовые «заказы», то есть пайки. Почему «заказы»? Продукты, которые были в этих «заказах», нами не заказывались, это в основном консервы, которые пожилым ветеранам с их болезнями и употреблять-то врачи не рекомендуют. Ну, да ладно, и на этом спасибо. Но самое главное в «заказе» — баночка икры, зернистой, лососевой, 140 гр стоимостью 4 р. 20 к... с пищевыми добавками, разрешенными Минздравом СССР. Может быть, Минрыбхоз СССР или Минздрав СССР разъяснят, что это за добавки? В каждую икринку добавляют что-то, и как это делается? Или икра — это не икра, а пищевая синтетика? Почему же стоимость та же, что и за натуральную икру?

З. М. КИСЕЛЕВА,
ветеран труда
Москва

■

Только что вернулся из поездки в порт Ванино. Да, в то печально знаменитое Ванино, о котором поется в известной песне: «Я помню тот Ванинский порт...». Побывал на судне «Ялта» — на последнем судне данной серии. Суда типа «Ялта» перевозили заключенных в тридцатые — сороковые годы от порта Ванино на Колыму. «Ялта» — последнее судно, сохранившееся благодаря тому, что его поставили на прикол и открыли там ремонтные мастерские. Не буду писать о своем состоянии, когда осмотрел трюмы судна. Тревожит следующее: через несколько лет судно разрежут на металлолом. Уйдет последняя память тех страшных времен. А, может быть, остались люди, которых перевозили на Колыму именно на «Ялте»? Пускай они вспомнят и напишут. А на судне надо открыть музей. Это наш долг! Тем более что в порту Ванино еще остались люди, которые помнят те времена.

Алексей ПЛАКСИЙ
Хабаровск

■

По какой причине входной билет на каток в ЦПКиО имени Горького стоит теперь 1 рубль? Два года назад было лишь 35 копеек, в начале нынешнего сезона — уже 50 копеек, а сейчас — 1 рубль.

И это именно в период зимних студенческих каникул. Я студентка II курса МАИ, стипендия всего 55 рублей, на каток ходить очень люблю. Но теперь, прежде чем покататься, приходится подумать. Могли бы сделать учащимся и студентам скидку, как на ВДНХ, например.

А ведь получается: вход — 1 руб., прокат — 20 коп., туалет — 20 коп. (все туалеты в парке платные), итого — 1 руб. 40 коп. за 2—3 часа. Не много ли?

Ольга БАЖЕНОВА
Москва

■

Сегодня в Академии наук сложилась острая кризисная ситуация. Пора разобраться в причинах конфликта между руководством и научной общественностью.

Мне кажется, что при подготовке Закона о выборах никто не дал себе труда заглянуть в Устав АН СССР. В первом же его пункте говорится, что Академия «является высшим научным учреждением СССР» и «подчинена непосредственно Совету Министров СССР». Ни один пункт Устава невозможно истолковать в пользу утверждения об общественном характере Академии, а между тем ей предоставлено право избирать своих народных депутатов наравне с действительно общественными организациями.

Академии наук СССР предоставлено 25 мандатов, Союзу писателей СССР, объединяющему около 10 тысяч членов, лишь 10. Столь существенная разница в квоте для двух в равной мере авторитетных организаций, мне кажется, объясняется тем, что, когда принималось решение о квоте для Академии, имелись в виду не только 900 академиков и членов-корреспондентов, но и 60 тысяч научных сотрудников. Президиум АН СССР распорядился иначе, приравняв 1 академика к 150 научным сотрудникам. Возможно, это и справедливо, если иметь в виду научный потенциал, но в данном случае речь идет о гражданских правах. Нельзя признать законным решение президиума об отборе 23 кандидатов из числа выдвинутых еще и потому, что по отношению к институтам он не является избранным органом и, следовательно, не может от их имени принимать решения, не относящиеся к производственной деятельности. Иными словами, это вне его компетенции. Именно это решение и спровоцировало бурное возмущение научной общественности и митинг протеста 2 февраля у здания президиума АН СССР.

Однако руководство Академии упорно сопротивляется требованиям демократизации общественной жизни. Сейчас принято решение провести выборы народных депутатов на общем собрании АН СССР с участием 900 членов Академии и всего лишь 400 представителей институтов (1 выборщик от 150 научных сотрудников).

Что же можно сделать сегодня? Следует, по-моему, прежде всего отменить постановления президиума, ущемляющие демократические права ученых. Для отбора кандидатов в депутаты, выдвинутых научными коллективами, необходимо провести конференцию с демократическим представительством как членов, так и сотрудников Академии. Предоставить делегатам конференции право собраться вновь для выборов 25 народных депутатов СССР. Можно и отказаться от отборочного этапа и провести выборную конференцию с голосованием в несколько туров, если это понадобится.

Мне кажется, такое решение было бы более демократичным и нравственным, чем то, которое навязано Академии ее президиумом.

Хочется надеяться, что наши выдающиеся ученые — члены АН СССР откажутся от нелепых и оскорбительных для свободного гражданина привилегий на выборах народных депутатов СССР. Такой шаг будет с уважением встречен научной общественностью.

Юрий МАРХАШОВ
Москва

■

Окружное собрание в Доме культуры «Правда» произвело на меня тягостное впечатление. Царила атмосфера какого-то заговора. А перед собранием ночью мне позвонил старый фронтовой друг, лет десять с ним не виделись, а тут позвонил, чтобы предупредить: «Юра, у вас на 21-е выборы? Там будут наши ребята с предприятия, выборщики. Имей в виду, их предварительно собирали и дали установку: голосовать только за двух «наших» кандидатов и чтоб никакой самодеятельности, на собрании будут люди, которые проследят: кто за кого голосует».

Я был уверен, что все в наших руках. Если что, в конце концов встану и расскажу о звонке. Но собрание с самого начала пошло как-то странно.

Микрофона в зале не было. Несмотря на крики: «Дайте микрофон!» Каждый, кто хотел что-то сказать, должен был идти на сцену, а там очередь. Мне один военный понравился: у него из рук рвут микрофон, отнимают, а он, крепкий такой, здоровый, не отдает и продолжает говорить.

Первыми выступили два человека. Они сказали: «Товарищи, все семь кандидатов — люди достойные. Почему мы за народ решаем? Давайте проголосуем, чтоб их всех зарегистрировали. Пусть народ выберет лучшего». Зал зааплодировал. Но председатель говорит: «Хорошо, товарищи, проголосуем, но сначала выслушаем кандидатов».

Выслушали кандидатов, потом тех, кто их выдвигал. После того, как кандидаты ответили на вопросы, из зала стали кричать, что обещано было голосование. Председатель делал вид, что не слышит. Тут я встал и напомнил ему, что он собирался провести голосование.

Минут пять он делал вид, что не понимает, о чем речь. Объяснял залу, что я предлагаю закрыть собрание. Потом подошел ко мне и спросил: «Что вы хотите?» Я говорю: «Еще раз повторяю вам: было предложение — голосовать за весь список. Доверить окончательные выборы всем избирателям округа». Он меня выслушал, подошел к микрофону и говорит: «Товарищи, а может, мы перерыв объявим?» Все зашумели. Кричат ему из зала: «Давайте проголосуем вначале».

Наконец он согласился: «Кто за то, чтобы зарегистрировать всех кандидатов?» Лес рук с красными мандатами. Ну, явно не меньше 80 процентов зала, невооруженным глазом видно. «Давайте,— говорит,— будем считать». Показал пальцем на каких-то людей в зале: «Вы будете счетчиками!» Начали подсчет. И почему-то никак не могут сосчитать, ну никак. В зале выкрики: «Передергивают!» Потом обнаружилось, что счетчиков не хватает. Куда ж они подевались? Не знаем, говорят. Ушли куда-то... В общем, голосовали трижды, и в самый разгар председатель все-таки объявил перерыв.

После перерыва, не обращая уже внимания ни на какие напоминания из зала о голосовании, председатель объявил прения. И начал вызывать выступающих. Знаете, мне это показалось просто оскорбительным. Было внесено предложение, надо же закончить дело. Но, видимо, это только нам было надо, а кому-то нет.

Я, честно скажу, выдерживать такое больше не мог. Встал и говорю: «Товарищи, я прошел войну и воевал честно. В нечестные игры я играть не умею. Поэтому ухожу. Кандидатуры своей не снимаю. Хотите — голосуйте, хотите нет,— но без меня».

Мы с Коротичем, который меня поддержал, встали и вышли. Стыдно это — быть пешками в чьей-то игре.

Юрий НИКУЛИН,
народный артист СССР



Наш адрес:
101456, ГСП,
Москва,
Бумажный
проезд, 14.

Бывший редактор «Ленинца» Вячеслав Александрович Кузнецов.

"ИРОНИЯ ГРУБОЙ ВЛАСТИ"

ИСХОДНАЯ МЫСЛЬ НЕ МОЯ. СФОРМУЛИРОВАНА ЛЕТ СТО НАЗАД, НО НАСКОЛЬКО ЖЕ КСТАТИ ПРИШЛАСЬ — БУДТО СПЕЦИАЛЬНО ПОДГАДАНА ПОД ПЕРЕСТРОЙКУ. ИТАК: ПОКА НЕ БУДЕТ ПРАВДЫ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ — НЕ ПОМОЖЕТ ЛЮДЯМ НИЧТО. СКАЗАНО ЧЕРНЫШЕВСКИМ.

Александр РАДОВ
Фото Сергея ПЕТРУХИНА

Теперь, то есть в наши восьмидесятые годы, и доказывать никому не придется, что любые сооружения, возводимые на вранье, проваливаются в тартарары! Копните поглубже почти любую общественную трагедию, техническую аварию или экологическую катастрофу, и в фундаменте обязательно отыщется ложь. Так было, в том числе с Атоммашем, Аралом, Чернобылем, «Нахимовым»...

«Ложь неэкономична!» — хоть и точно, но слишком мягко, если мерить по нынешним меркам, сказано было в одной давней уже производственной пьесе. На самом-то деле ложь страшнее, чем смерч, разорительней, чем опустошительный пожар... А проявляет себя, обычнее всего, если прибегать к формулировке Герцена, как «ирония грубой власти».

И это, увы, совсем не позавчерашний день. Едва ли не все нынешние беды страны можно объяснить с помощью всего лишь двух слов — врут и воруют.

На чем все держится в самой что ни на есть обыденной жизни? Вот вопрос, который меня мучил перед очередной командировкой, но получилась она неординарной.

ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ... УБИЙСТВО

Поздней осенью прошлого года в славном городе Горьком случилось смертоубийство, о котором ни милиция, ни прокуратура даже не догадываются. Все произошло, что самое удивительное, легально и открыто. И даже, что вполне в духе времени,— демократично: прежде, чем жертву прикончить, вопрос поставили на голосование. Вот результат: ни «против», ни «воздержавшихся» не было. Все дружно проголосовали «за»!

Чтобы дальше читателя не томить, поясню: убивали не человека, однако существо в полной мере одушевленное и весьма разумное — всего одним, но замечательно выверенным ударом прихлопнули (да так, как это делают в отношении назойливых мух) махонькую, всего на две полосы, заводскую многотиражку.

Ни крови, ни конвульсий не было: газеты, как, впрочем, и журналы, умирают иначе, чем люди. Внешне все сохранилось почти в буквальной неизменности: заголовки и рубрики, тираж и даже — на первых, естественно, порах — круг авторов. Поменялась всего одна деталь — фамилия редактора. Но этого оказалось довольно, чтобы прежнее издание ушло навсегда, уступив место газете иной, практически противоположной направленности.

Тут внесу ясность: такое теперь не редкость. Даже в столицах.

И везде — одна схема: достаточно выбить главного редактора. Тут и есть, если хотите, ахиллесова пята



гласности. А на нее жмут изо всех сил. В январском номере нового периодического издания «Журналистские новости» читаю материалы пленума Союза журналистов СССР и наталкиваюсь на такой абзац: «...Мы испытываем всевозрастающее давление на органы печати, особенно на местах. Много попыток командовать, манипулировать печатью. Есть факты преследования за критику, есть факты, когда редакторов, журналистов серьезно наказывают без достаточных оснований, снимают с работы... Недавно уволили за неподчинение заместителя редактора воронежской газеты «Молодой коммунар» В. Колобова, ответственного секретаря тульской молодежной газеты К. Кириллова. Но особенно туго приходится многотиражкам. Самый свежий пример: на теплоходе «Максим Горький» прямо в море был снят с должности редактор газеты Ильин, а администрация теплохода сама взялась выпускать газету. Надо полагать, по собственному образу и подобию».

Сообщив об этом, наш печатный орган даже не задался вопросом: а что мог сделать Союз журналистов во всех этих случаях? Увы, там не всегда вмешиваются, не берут на себя социальную защиту.

Если копнуть глубже — окажется: правде противостоят не только и не столько люди. Главное — обстоятельства. Или даже так: весь порядок вещей, терпящий правду лишь в порядке исключения. С этим мне и довелось столкнуться в Горьком — на телевизионном заводе имени Ленина.

Представьте себе не газету даже, а газетку (выходящую невеликим по отечественным меркам тиражом в две тысячи экземпляров), которая, ничтоже сумняшеся, пошла войной против самых первых в должностной и общественной иерархии лиц завода. Однако, когда я приехал на ГТЗ, более всего известный цветными телевизорами «Чайка», многотиражка «Ленинец» пребывала уже в ином состоянии, потеряв прежнего редактора и дожидаясь нового.

Казалось бы: сняли редактора — эко событие! Ведь не убили, не посадили. Выговор — и тот не объявили. Предложили равноценную должность — даже в окладе не потерял. Так надо ли драматизировать?

Если, однако, дознаться, в чем обвинили,— возьмет оторопь. «Вел курс на подрыв авторитета партии». Осуществлял «идеологическую диверсию» и «пропитанное злобой очернительство». «Для своей желтой газетенки материалы собирал на помойках». И, наконец, намеревался «подорвать веру — сначала в отдельных людей, затем в коллективы, а в итоге — в перестройку».

Эти формулировки звучали из официальных, так сказать, уст, а потом и печатно были воспроизведены. Коли им верить — перед нами вредитель, враг! Как тут не воскликнешь: «Ату его!», выразив изумление — с таким злоумышленником и так мягко, так снисходительно поступили! (Нетрудно представить, что было бы с данным «виновником торжества» всего каких-нибудь пять — семь лет тому назад!)

Поступили между тем — и это пойму с самого первого взгляда — топорно и грубо, что не могло не подтолкнуть к мысли: раз у противников многотиражки в ходу такие средства — значит, и цель не высока! Не общественный интерес спасали, а нечто совсем иное... Смотрите: деятельность редактора В. Кузнецова прервали на следующий же день после того, как тот одержал просто сенсационную победу — вынудил подать в отставку непосредственного шефа, заместителя секретаря парткома Н. Фамилию не открываю по той единственной причине, что редактор Кузнецов обвинил Н. не только в личной непорядочности, но и в причастности к уголовно наказуемым делам. Еще и документ обнародовал, собственноручно подписанный Н. и полностью его уличающий.

Ни опровержения, ни апелляции в суд от Н. не последовало, зато выяснилось: районная милиция еще год назад имела все доказательства злоупотреблений Н., однако ее начальники и в мыслях не держали, что подследственны и подсудны и такие, как Н., фигуры. Лишь отчаянный натиск редактора заставил милицию действовать. (Да только надолго ли?) А сам Кузнецов — уж не за это ли поплатился?

С НИЖЕГОРОДСКИМ ПРИВЕТОМ К ВАМ...

Да нет: не только за это. За полтора года в каждом номере «Ленинца» — разоблачения больших или малых безобразий, жесткая полемика, открытые письма к общественным лидерам, где такие, к примеру, строки:

«Обращаемся к Вам через газету, потому что другого выхода нет. С нами, рабочими, Вы, наш профсоюзный руководитель, не считаетесь совсем. В прошлом году мы были у Вас, высказали все то же самое, но Вы даже не ответили, не говоря уж о каком-то желании помочь.

Нам не надо угождать. Мы хотим работать не в идеальных условиях, понимаем, что до этого заводу далеко, а просто в нормальных. Чтобы не лили на нас, на станки, на детали дожди. Чтобы в жару была холодная вода для питья. Чтобы была вентиляция. Чтобы не выклянчивали мы халаты и фартуки. Чтобы могли мы работать и зарабатывать деньги, на которые содержим и Вас, и Ваш аппарат, и все руководство, и завод, и государство. Мы, рабочие, это делаем, а Вы призваны нам помогать и защищать наши права, в том числе и право на нормальный труд. Так помогайте и защищайте.

Мы понимаем: сытый голодного не разумеет. В Вашем кабинете не капает, а кондиционер приятно освежает воздух. Так спуститесь к нам, рядовым членам профсоюза, побудьте у нас хотя бы десять минут. Тогда, может быть, в предстоящем отчете о выполнении колдоговора Вы будете меньше говорить о достижениях, а больше — о том, что надо сделать, не откладывая».

Но вот что поразительно: дирекция и общественные лидеры даже не пытались оспаривать обвинения. Возразить было нечего? Или удобнее им было не придавать значения? Как бы там ни было, но действовали не в духе открытой борьбы, от которой все мы, конечно же, поотвыкли, а вполне по-брежневски: мстили критикам своим исподтишка, вместо аргументов сочиняли оргвыводы. А уж если приходилось держать ответ, переходили на личности, приписывая журналистам и тем, кому они предоставляли трибуну, чуть не вредительские цели. Но вот как на это реагировали читатели:

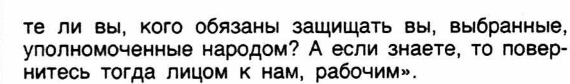
«Неоднократно читала высказывания со стороны работников парткома и профкома, что редакция использует газету в личных целях. Ответьте, в чем они и где они.

...Я так поняла — собираются убрать редактора. Но прежде скажите — за что? Все ваши доводы мелочны и несерьезны. А где серьезные опровержения того, о чем пишет газета?»

Печатница Н. Прохорова, написавшая это в своей заметке для «Ленинца», назвала ее красноречиво: «Кому служите?» Этим вопросом и заканчивает, адресуя общественным лидерам коллектива: «Знаете ли вы, кого обязаны защищать вы, выбранные, уполномоченные народом? А если знаете, то повернитесь тогда лицом к нам, рабочим».

Директор горьковского телевизионного завода имени В. И. Ленина Виктор Селиверстович Копылов.







Перед нами — единомышленники и страстные защитники «Ленинца». С их мнением не посчитались...

Здесь, чувствую, возникло у знающего читателя недоумение: неужто контроля для него, то есть редактора «Ленинца», не существовало? Был и контроль, а вернее — его попытка. После какой-то острой публикации партком завода своей коллективной волей строго-настрого повелел: каждый материал перед публикацией подписывать в парткоме завода, а в его отсутствие — у инструктора парткома.

— Называлась бы газета не «Ленинец», а, к примеру, «Крокодил» — все было бы нормально,— резюмировал для меня первый секретарь Приокского РК КПСС Д. Н. Модератов. Тем самым словно бы подтвердил: обвинения в «идеологической диверсии» и прочем — полная чепуха! Ни клеветы, ни крамолы в газете не было. Была резкая критика. Это разве грех? Считаю — напротив! Вспомним великую ленинскую мысль, которую почему-то перестали повторять: «Гласность есть меч, который сам исцеляет наносимые им раны».

Как бы там ни было, но многие в решении о снятии Кузнецова увидели покушение не только на газету. С горечью заключали: перестройки на заводе не будет, гласность здесь не нужна.

Чтобы подобные подозрения сразу же отвести,

а накал недовольства снять, партком порешил: «Обеспечить проведение выборов на демократической, конкурсной основе». Речь о редакторе «Ленинца». А что получилось в итоге? Уже в Москве получаю письмо: «Здравствуйте, Александр Георгиевич! С нижегородским приветом к вам Седов И. И.! Вас, наверное, в первую очередь интересует, что у нас нового на заводе. Прошла партконференция, где выбрали нового редактора. Основной массе завода он не известен. Так что выборы его прошли, а массы остались в стороне (обошлись без них)».

«Массы остались в стороне (обошлись без них)»,— еще много раз к этому горестному выводу будут приходить мои собеседники на заводе, имея в виду не только случай с многотиражкой. Что до конкретной ситуации — здесь Иван Иванович Седов (являющий чрезвычайно редкое сочетание: слесарь по металлу с высшим экономическим образованием, еще и рабкор) смягчил: выборов как таковых и вовсе не было, а тем более на «конкурсной основе». Была единственная кандидатура, уже и утвержденная,— В. А. Ожиганова. Его только представили, сразу же предложив в состав парткома. Прошел единогласно, хотя многие его знали не с лучшей стороны. Работая инструктором сектора печати обкома КПСС, он год назад возглавлял комиссию. Той поручалось проверить действенность многотиражки и отношение к критике на заводе. Было для комиссии обширнейшее поле деятельности: выступления «Ленинца», как мы уже видели, руководители игнорировали, не забывая при этом «разбираться» с самыми яростными критиками. Приведу для примера пока только две фамилии: Б. М. Шабанин и В. В. Мочалов — самые первые руководители заводской госприемки, которую они и создавали. Однако потом в госприемку да на первую роль был выдвинут человек, гораздо более сговорчивый. Когда все попытки разобраться с этим сначала на заводе, а потом в министерстве оказались тщетны, Шабанин и Мочалов вынуждены были вынести сор из избы. В письме, опубликованном в центральной газете, они гневно осудили циничное пренебрежение на заводе к качеству. О-о, что после этого началось! Наших героев подвергли жесточайшему остракизму, выставив и клеветниками, и предателями, хотя в официальных ответах, помещенных в той же газете, говорилось: «Факты подтвердились»!

Отталкиваясь от этого хотя бы случая (а подобных на ГТЗ — и это без всякого преувеличения — десятки!), можно было бы решающим образом подтолкнуть перестройку на заводе, поспособствовать действительной гласности. Но В. А. Ожиганов свое негодование направил на одного только Кузнецова. Воистину — с больной головы на здоровую. О справке, составленной Ожигановым, вспомнили, когда решились снимать Кузнецова по совокупности «грехов».

Вот какой сверхвзвешенный человек сменил Кузнецова, главная страсть которого — называть конкретных виновников, а вещи — своими именами.

Интересны и технические подробности смены редактора. Кузнецову платили 200 рублей, а Ожиганову сразу же определили 270. Выпуская ежедневную газету, Кузнецов буквально надрывался, находясь в вечном цейтноте, поскольку имел в штате лишь одного сотрудника. Другого у него сократили уже в самом начале затяжного конфликта. Многие на заводе убеждены: для того сократили, чтоб неизбежно выскакивали в газете неточности, которые можно было до невероятных размеров раздувать. Что же до Ожиганова, то ему разрешили выпускать еженедельник, что, как знают журналисты, менее трудоемко. Больше того — немедленно дали второго сотрудника и оказывают любое содействие, в котором Кузнецову неизменно отказывали. Вот такой баланс. А что в результате?

Кузнецов выпускал одну из лучших многотиражек страны. Говорю уверенно, поскольку перевидал их множество. Мало того, что на заводе зачитывали «Ленинец» до дыр. Его и по всему Горькому растаскивали. Вот почему весь город во всех подробностях знает, с кем и во имя чего воевал Кузнецов.

В «новый» «Ленинец» никак не вписались рабкоры, бывшие при Кузнецове признанными «золотыми перьями», не раз пробуждавшими в товарищах по работе святое негодование к потерям, несправедливостям, злоупотреблениям.

Одно из «золотых перьев» — слесарь-экономист Иван Иванович Седов. В последней статье, рукопись которой принес в редакцию, доказывал: на заводе есть группы, которые стеной стали на пути перемен, ибо немалые выгоды получают от существующих на заводе безобразий. Статью не опубликовали, но предложили уволиться литсотруднице, которая на свой страх и риск подготовила статью к печати. И опять прозвучали, как некогда в адрес Кузнецова, почти те же идеологические формулировки. Но что более всего Ивана Ивановича поразило — ни редактор газеты, ни партком даже не усомнились, что в его статье правда.

— Был единственный путь гласности,— с горечью скажет мне Иван Иванович,— через газету. Его прикрыли!..

Те, кто считал прежний «Ленинец» своей газетой, «новую» многотиражку на дух не выносят, демонстративно ее бойкотируют. Зато дирекция довольна. Теперь никто не сможет многотиражно усомниться в каждодневных великих достижениях завода.

«ДЕЛИКАТНАЯ ВЗАИМНОСТЬ ВРАНЬЯ»

Хотя второй секретарь обкома партии В. А. Карпочев признается мне: «Тяжелый завод, намучились с ним!», однако состоятельность руководства не вызовет в нем ни малейших сомнений. «Сильный директор»,— в один голос скажут мне на всех уровнях. Словно бы в подтверждение этому — сверхположительный в программе «Время» сюжет о заводе.

За пять часов до программы «Время» в Прокуратуре страны встречусь с Николаем Александровичем Антиповым, следователем по особо важным делам. Окажется: именно таковое дело уже третий год он вместе с обширной бригадой ведет на Горьковском телевизионном заводе. Суть — сверхкрупные приписки, вершившиеся из месяца в месяц в течение трех с половиной лет: с 1983-го по август 1986 года. Продолжались бы и дальше, если б не пресекли. «Как кончились приписки — перестали выполнять план»,— комментирует Николай Александрович, давая понять: ради него, родимого, все и делалось.

Однако обратите внимание: годы были уже не те, когда это было принято повсеместно. А еще больше поражает размах приписок: не пропустив за эти годы ни одного месяца, к изготовленным телевизорам приплюсовывали разное, но всегда не маленькое количество (от 300 до 16 тысяч штук) не существующих. В акте экспертизы читаю: «Нередко число приписанных телевизоров превышало их фактический месячный выпуск».

Что такое приписать, да еще такое количество? Это не просто зачеркнуть цифру, сверху написав другую. Тут надо подделать или вовсе заменить сотни или тысячи документов: бестоварные требования, лимитивно-заборные карты, накладные на внутренние перемещения покупных полуфабрикатов, акты сдачи и т. п. Сотням людей надо объяснить: не верь глазам своим.

Давая показания следователям, директор В. С. Копылов уверял: кроме единственного случая, о котором ему сообщила-де милиция, «других фактов искажения отчетности за проверяемый Вами период мне не известно».

Если даже поверить, то возникнет недоумение: где ж тут «сильный» руководитель, да что там — просто ответственный человек, коли надували его так долго и так по-крупному! И до сих пор невосполненных приписок — восемь миллионов рублей! Не заметить их, полагаю, очень трудно.

Прокуратура страны давно завершила следствие, пора, ой как пора передавать дело в суд, но привлекать к нему некого. У завода и его директора слишком много нашлось входящих в положение «адвокатов», вовсю эксплуатирующих свое «телефонное право». Десять экспертиз проведено — факты куда как доказательны. Но пятеро подследственных оказались орденоносцами и уже по этой причине попали под амнистию. Ну как таких заподозришь?

Заводской генералитет, словно удостоверив факт систематических приписок, вернул обратно свои незаконные премии. Однако те полтора миллиона, которые были ни за что ни про что выплачены рядовому персоналу, до сих пор не взысканы. В Прокуратуре страны мне объяснили: не положено. И я понял, отчего укоренилось такое всепрощение — иначе пришлось бы все, да в подробностях, пересказать рабочим, ответив на очень неприятные вопросы, и прежде всего на такой: «Кто ж виноват?» А отвечать на него ну никак не хочется. Потому ни разу вразумительно не рассказали на заводе о столь не рядовых приписках, не поведали рабочим, как, прикрываясь их якобы интересами, сотворили целую приписочную индустрию. Она и теперь еще не демонтирована, оставаясь не только памятником консерватизма и застоя, но и питательнейшей средой для новых и новых рецидивов стародавней мерзости.

«Планирование на заводе даже доперестроечным, застойным не назовешь: взятый от фонаря план ни разу ни одним сборочным цехом не выполнялся. Организация труда — никуда: случилось несколько 12-часовых «растянутых смен», бессовестно отнимавших у рабочих их выходные. Показуха, выводиловка, очковтирательство — основа такой организации».

Эти строки вышли из-под пера редактора Кузнецова. Преувеличивает? Напротив, многого еще не упоминает. Параллельно с поощрением вранья на заводе какой уже год пытаются опорочить или даже загнать в угол правдолюбов. Легче скомпрометировать человека, вскрывшего безобразия, чем их оспорить. В эпоху кузнецовского «Ленинца» все неистовые принципиалы были под его крышей, все вместе. А теперь снова разобщены.

— По одному нас перещелкают. Как блох у собак...

Иван Иванович и не хотел бы быть пророком, да прогнозирует уж больно правдоподобно. А вот и самое фундаментальное его высказывание:

— Когда рабочий станет хозяином — он за правду башку открутит. А сейчас ему до лампочки.

Хоть и резко сказано, да очень точно! Сейчас и на этом заводе и во всем обществе есть, конечно же, интерес к правде, но словно бы факультативный. Беды наши, трагедии чем угодно объясняем, но только не практикой вранья. Из всех человеческих грехов, из любых профессиональных прегрешений самыми невинными считаем эти: соврал, схитрил, схимичил... И безмерно поражаемся, узнав, что на диком Западе именно за это, и в особенности за мошенничество, карают наиболее жестоко.

Один, другой, третий раз соврал, пусть даже без последствий, и все, гуляй — профнепригоден, иной раз на всю жизнь. Неспособные оценить всю справедливость, всю наивысшую целесообразность этого, мы ни за что, видимо, не согласимся с таким утверждением: правда должна идти впереди всего — и реформ, и реконструкций, и перестроек. Если этого не будет — все коту под хвост!

Вот почему самая первая для нас стратегическая задача — очестнить, если можно так выразиться, все процессы в обществе, и прежде всего производственные, управленческие. Слишком уж далеко дело зашло. Однако — и в этом надо отдавать себе отчет — наша неистребимая как будто привычка к вранью не теперь возникла. Она тянется слишком издалека.

«...С недавнего времени меня вдруг осенила мысль, что у нас в России, в классах интеллигентных, даже совсем и не может быть не лгущего человека. Это именно потому, что у нас могут лгать даже совершенно честные люди. Я убежден, что в других нациях, в огромном большинстве, лгут только одни негодяи... Ну, а у нас могут лгать совершенно даром самые почтенные люди и с самыми почтенными целями (...). Деликатная взаимность вранья есть почти первое условие русского общества — всех русских собраний, вечеров, клубов, ученых обществ и прочее».

Тут и есть, если верить Федору Михайловичу Достоевскому, имманентное свойство, казалось бы, одоленного нами общежития. Именно на «деликатной взаимности вранья», вошедшей в массовые привычки и в атрибутику всякого, и в том числе экономического, управления, и продержался, как мне кажется, в течение целой эпохи зловещий, всё и вся развращающий сталинизм. И явление это — «деликатная взаимность вранья» — не только выжило, но повсеместно преобладает. Вот характерный пример: «Вы делаете вид, что платите, а мы делаем вид, что работаем». Здесь, увы, не только анекдот...

Год назад завод переходил на новую систему оплаты труда. Администрация и завком уверяли рабочих: они от этого только выиграют. А Иван Иванович, как Фома неверующий, все подсчитал скрупулезно: не зря, как я говорил уже, дипломированный экономист. И сделал открытие: опять надуваловка! Как человек решительный, двинулся с протестом по всем этажам, добрался до обкома профсоюза и тем самым несколько скомпенсировал несправедливость. Однако по итогам года понял — и демарш не помог: по сравнению с предыдущим годом среднемесячный заработок упал сразу на 200 рублей. В пластмассовом цехе, где литейщицей работает Галина Васильевна Кирьянова, еще и дальше пошли: не стали жаловаться, что унизительно для рабочих людей, якобы «хозяев страны», а учинили четырехчасовую забастовку. Что ж отвоевали? «Целый» процент: им вначале прибавили 5 процентов за вредность, а потом почти все забрали назад, подрезав расценки.

И в цехе Седова, и в цехе Кирьяновой рабочие еще раз убедились: по-честному с этим начальством нельзя. Чем больше вкалываешь — тем больше срежут. Несмотря на клятвы и обещания — какими бы искренними они ни были.

Что, как не грубая власть, противостоит Ивану Ивановичу и его товарищам? И это при условии, что каждый из стоящих над ними начальников или просто чиновников может вызывать у рабочих самые искренние симпатии. Могут между собой сердечно общаться, сражаться в шахматы или забивать козла, даже дружить домами, но все равно будет проскальзывать — «мы» и «вы». Самые интимные тайны друг другу расскажут, а про взаимные хитрости и уловки, господствующие в сфере экономических отношений, обязательно умолчат.

Прежде всего потому, что рабочий получает за штуки (и так почти везде), а руководители выкладываются ради плана, и этот их хлеб на заводе — если честно сказать — очень не сладок! И чтобы это противоречие между верхами и низами снять — на заводах напридумано множество малых и больших хитростей, создана целая наука. Тут имею в виду так называемое нормирование труда, хотя сей предмет естественнее было бы назвать искусством дележки. Вот где главный источник вранья. Тут и рождаются грубость и некорректность, которые доверия у подвластных вызвать никак не могут.

Здесь имею в виду командно-нажимные методы, которые не только в данном случае, но и много где преобладают. Наш известный индустриальный социолог профессор из Калуги А. К. Зайцев назвал мне такую цифру: почти 80 процентов руководителей производства в стране и теперь еще, то есть в разгар всеобщей демократизации, исповедуют силовой или, по-ученому, авторитарный стиль. Даже в тех случаях исповедуют, когда сами по натуре мягки и демократичны. Но что прикажете делать: их жизнь заставляет! С одной стороны, тут бессилие,

заставляющее срываться на крик, истерию. С другой стороны — им это снизу, то есть со стороны подчиненных, дозволено — право не только командовать, но и хамить, всех подряд обругивая, не входя ни в чье положение. Даже возникшая в последние годы гипотетическая угроза быть переизбранными не породила среди хозяйственников массовой моды на демократизм. Перспектива по инициативе снизу лишиться должности не очень-то пугает, как я понял, заводских начальников. В особенности высоких рангов. Зная общий расклад на заводе, надеются, что вышестоящие лица их в обиду не дадут. Хотя бы для того, чтобы не случился заразительный прецедент, способный затем вызвать цепную реакцию. Вся административная пирамида тут действует заодно. Лидеры их тоже ведь люди — им, завершив общественную миссию, тоже куда-то придется устраиваться. И чтобы получить от директора завода интересное предложение — как надо себя вести?

Это очень приметно проявилось в судьбе секретаря парткома Ю. Тутуркина.

В райкоме партии, а потом в обкоме со мной согласятся: Тутуркин не лидер, не за свое дело взялся, авторитет не стяжал.

А роль его на заводе хорошо выражает формула: «заместитель директора по партийной работе». Вот что удивительно: сколько езжу по предприятиям — очень редко встречал действительно независимый и в полной мере принципиальный партком. Он очень часто лишь подыгрывает дирекции. И Тутуркин был тут наилучшей иллюстрацией. Но вот истек очередной срок — куда его девать? Человек гордый сам бы о себе позаботился и уж, во всяком случае, не замахивался бы на должности, до которых ему расти и расти. Несколько месяцев ходили по заводу слухи: специально для Тутуркина вводят должность заместителя директора по качеству. И это для человека, который уже сам не помнит, когда занимался конкретной работой, был инженером. Перспектива иметь такого замдиректора да по вопросам, которые для завода уже роковые, никого на заводе не радовала. По этому случаю на собраниях было много ехидных вопросов, прямых протестов. Да и конструктивных предложений, к примеру: объявить на эту должность открытый конкурс. Ну уж нет: если бюрократ прицелился — он рисковать не станет, и здесь с демократией ему решительно не по пути. Но почему же вверху благословили? В обкоме партии мне сказали: «А мы оставили на усмотрение директора!» И что ж директор? Тот не подвел — верного человека определил в замы, проигнорировав все протесты и неудовольствия в коллективе.

Вот другое проявление грубой власти: безапелляционная игра в одни ворота. У начальства и в мыслях нет, что по отношению к подчиненным требуется равноправный и взаимообогащающий диалог, демократическая полемика, что никак не обойтись сегодня без терпимости к иным подходам, другой правде, отличной от собственной.

В отношении ко всему, что за пределами предприятия,— тут имей на здоровье свой особенный взгляд, но применительно к политике или практике управления собственным заводом — не моги иметь ни малейшего инакомыслия. Всякое ослушание, как ни трудно в это поверить, карается по всей строгости. Слышу из авторитетнейших уст Григория Арсеньевича Виноградова, инженера-исследователя, который три года возглавлял на заводе группу народного контроля: «Есть принцип на заводе: если против выступил — уходи. А потом удивляются: куда девались кадры...»

Довелось мне выслушать исповеди шести бывших работников, подкрепленные каждый раз папочками документов. Каждый был профессионалом высокого класса. С ними разделались только за то, что посмели публично высказать неприятную для начальства правду. Хоть и появилась статья в Уголовном кодексе — «расправа за критику»,— редко встречаю, чтобы она действовала. На одном только ГТЗ есть для нее громаднейший фронт работ.

ЭКОНОМИКА ВРАНЬЯ

Как и все прочее, вранье основательно держится на экономике, да еще на том, что во многих случаях нет лада между верхами и низами. Вот почему рабочие часто придумывают большие и малые хитрости, чтобы администрация не узнала про все заначки, скрытые резервы. Тут надо пояснить, что, попадая в прорывы, администраторы готовы любые деньги платить, лишь бы вырвать план. В самые роковые дни за один только выход на смену рабочим платят — в зависимости от характера труда — где десять, где тридцать, а где и семьдесят рублей. Как же было не научиться рабочим использовать эту явную несуразицу? Уже много лет часть прорывов помогает рабочим добрать за несколько дней то, что потерял за полмесяца простоев или раскачки. Заработки подскакивают иные месяцы до семисот, до тысячи. Но это не столько у самых моторных, сколько у самых ловких. А если в среднем взять — скромненько получается. Все потому, что те, кто позволил себе втянуться в эту игру, сами себя перехитрили.

Старший инженер ОТиЗа М. Кавин назвал как-то в «Ленинце» две цифры: за июнь 1988 года в одном цехе каждый заработал в среднем по 164 рубля, а получил по 299. Но так — в цехах прорывных, а в целом по заводу, особенно у женщин,— громаднейшие недоплаты. Ясное дело: чтобы меньшинству можно было платить аккордно — большинство завода должно сидеть без премий.

Но такой баланс не очевиден, рабочие и не догадываются, что, прощая администрации, лишь бы она тоже простила, попадают в тупик, из которого не выбраться. Взаимное попустительство людей, одинаково плохо делающих свое дело (в этом смысле качество управления на ГТЗ вполне соответствует качеству производства), может рассыпаться только в условиях беды, катастрофы, крупного провала. А на ГТЗ малые беды, не побуждающие к решительным мерам.

Начнешь расспрашивать — и рабочие, и инженеры, и администраторы по-своему недовольны работой и жизнью, но у каждой категории немало комфорта. В одном случае — это возможность повольнить, в другом — получить ощущение защищенности, в третьем — насладиться административным восторгом и т. п. Или даже так — получить незаработанное...

Но во всех случаях тут «микроскопические привилегии», как выразился недавно по ЦТ знаменитый врач С. Н. Федоров. Раскрепостив свои силы, скованные и консерватизмом, и «деликатной взаимностью вранья», сняв страшное бремя грубой власти, можно фантастически, не на жалкие проценты, а сразу «в разы» изменить и отдачу от человека и его благосостояние. Иван Иванович удивляется: могу еще двух работников заменить, а это никому не надо. Почему? «Я бы взял завод в аренду!» — веско сказал мне во время последней встречи.

Кто-нибудь скажет: большие аппетиты! А он понимает: брать в аренду цех — дело безнадежное. Это не только не подорвет администраторский диктат, но еще больше укрепит — вместо маленьких привилегий, существующих в нынешней бедности, появятся большие,— за счет огромной прибавочной стоимости, которую будет отдавать арендатор Иван Иванович. Не ликвидировав грубой власти, переходить на хозрасчет — ее на десятилетия законсервировать.

Но кто ж отдаст сегодня в аренду громадное и почти благополучное предприятие? Однако стоит разобраться: на чем держится это благополучие? На попустительстве со стороны общества. Только наладив, к примеру, ритмичность, завод может выдавать в полтора раза больше продукции. Только за счет исключения преступных нелепостей (хранение кинескопов под дождем и снегом, чистого жульничества при испытании телевизоров на отказы и т. п.) можно резко поднять качество изделий и надежность их. Но тут как минимум требуется сказать о себе всю правду. Но именно такой безделицы и не хотят зачастую руководители. Конечно же, понимают: в ситуации правды заводу потребуются совсем другие лидеры. А что коллектив? Он пока и сам не знает, что ему надо, что хочется,— не спросили, не дали возможность задуматься, а потом все, что накипело, высказать, не побоясь споров, конфликтов, разоблачений. Напротив, коллектив призывают обойтись без распрей. «Вместо сплачивания коллектива, цементирования его для выполнения задач, поставленных партией, подобные публикации разобщают его!» — примерно так упрекал «Ленинец» директор Копылов, осуждая очередную критическую статью. После этого попробуй докажи, что любая критика снизу — не распри.

— Если б начальство избрало линию трудового человека, все было бы иначе! — уверяет Иван Иванович.

Но ведь есть в наше время и еще одна структура. Как ничто другое могла быть гарантией правды. Имею в виду Совет трудового коллектива. Есть на заводе? Есть! Да вот только какой? Иван Иванович, сам являющийся председателем СТК цеха, мне рассказывает про заводской совет:

— Из 31 члена рабочих только 11, да и те...

Член заводского СТК, токарь пятого разряда Николай Борисович Бешкарев явился предо мной случайно — в цехе, где в моем и фотокора «Огонька» Сергея Петрухина присутствии рабочие доказывали: похоронив «Ленинец», затормозили на заводе перестройку. А начальник цеха Ю. Павлов убеждал в обратном: «Ленинец» однобок и тенденциозен, выражает личные интересы редактора.

Здесь кто-то не выдержал из рабочих:

— Вот вы на «Ленинец»... А мы только из него и узнавали про главные на заводе безобразия. Вы-то про них молчите. И нас, рабочих, клянете. А сами разве перестроились? Все карты нам не открываете.

Вот здесь и вспомнили про СТК. Почему не вмешивается, не пробует стать формой народовластия? Объяснить и взялся сидевший в третьем ряду токарь Бешкарев:

— Я не вижу пользы от Совета трудового коллектива. Там в основном руководители. Все вопросы они привыкли между собой решать. А рабочему трудно разобраться в заводском гигантизме.

Тут он скромничал. Из дальнейших его рассуждений выходило: прекрасно, на уровне хорошего здравого смысла разобрался в общей заводской ситуации, а вот логику действий администрации никак понять не может. К примеру, зачем здание проходной обкладывать мрамором, если к ней приходится идти через ямы, по грязи, а то и по колено в воде? Так не лучше ли вначале дорогу заасфальтировать?

Был бы СТК действительно органом народовластия, много бы несправедливостей исправил на заводе, исключил бы управленческую заумь, идущую от безразличия чиновников, не зависящих ни в чем от результатов своего и общего труда. Но нынешний СТК не избирали, а назначали, укомплектовав людьми, которые против существующего порядка вещей бунтовать не станут.

На кого ж рассчитывать Ивану Ивановичу, Кирьяновой, к кому апеллировать редактору Кузнецову, отодвинутому как мебель? Нет у них легальных возможностей борьбы за правду. Что ж им остается — устраивать на родном заводе заговор?

Да ведь как-то неловко — святое дело перестройки творить из-за угла!

А ведь достаточно одной малости, и все принципиальнейшим образом переменится. Надо изменить статус газеты, сделав ее органом коллектива. Организационно это выглядело бы так: избирать редколлегию и редактора, да не формально, а на конкурсных началах — на конференции трудового коллектива. А может быть, и дальше пойти: общим голосованием всех, без исключения, работников предприятия. Технически это осуществимо: кустовые собрания или голосование прямо на рабочих местах. А предшествовать этому может избирательная кампания, когда каждый претендент отстаивает свою программу.

Пробыл редактором Кузнецов год с небольшим, а много успел. Хоть и пытались руководители игнорировать выступления газеты, но вдохновленное ею общественное мнение становилось грозной силой и не раз диктовало экстренные меры.

Более всего тут характер помог. А был бы чуток попокладистее? Или так: нуждался бы, к примеру, в квартире... И ничего б тогда не получилось, как не получается у многих сотен редакторов страны, находящихся в кабальной зависимости от аппарата, который ничегошеньки не хочет менять.

Нет, редактор должен быть вне подозрений. Он должен иметь такой прочный щит, чтобы им заведомо нельзя было командовать, невозможно было его подкупить. Газета на хозрасчете — вот лучшее, что могло бы тут быть. Но для этого негоже смотреть на прессу как на дойную корову. Сегодня большинство центральных газет и журналов дает сверхприбыли, которые целиком идут в бюджет. И это в то время, когда кое-где ставки и гонорары устанавливались десятилетия назад и с тех пор не пересматривались.

Смотрите: плюрализм в обществе понемногу осуществляется благодаря многочисленности и разнородности информационных каналов, имеющих право на свое видение. А как быть предприятиям, колхозам и совхозам, целым сельским районам, где всего только одна газета (да и та в безраздельной зависимости от аппарата)? Не потому ли так вяло разворачивается сегодня провинция, так мало в ней правды, борьбы взглядов и мнений?

В идеале, а значит, в перспективе каждая из народившихся или нарождающихся перестроечных сил должна получить свою легальную трибуну, свои информационные возможности. В том числе — электронные. Что стоит, к примеру, Горьковскому телевизионному заводу уже теперь иметь несколько радиогазет, телевизионное вещание, в том числе кабельное, способное нагрянуть и на дом — в заводской поселок?

Удивительный парадокс: замечательно ориентируясь в международной обстановке, несколько хуже понимая ситуацию в стране, наши люди в своем большинстве ну абсолютно не информированы, что делается на родном предприятии. Им очень недостает правды фактов, а уж правды сущностной, невооруженным взглядом не видимой, и вовсе для них нет. Каждый второй мне говорил на заводе: существует пропасть между хорошо информированными, но мало что желающими менять верхами и неосведомленными подчас низами, страстно желающими перемен. В этом вакууме появляются химеры, набирают силу разрушительные иллюзии.

Пока этот вакуум существует, не сможет «кухарка» управлять государством, не восторжествует социалистическое самоуправление, не сработает полный хозрасчет. А чтобы все это состоялось, необходима информационная революция. Прежде всего местная. Потребуются не только материальные и технические возможности. Надо гарантировать каждому гражданину право на информацию, и начинать это с родного предприятия.

И надо реально защитить рыцарей правды. Сегодня в них целятся все, а прийти на помощь бывает некому. Самых честных своих коллег не всегда берется защищать даже Союз журналистов.

Профессия людей, добывающих правду и доносящих ее до всех страждущих,— самая тяжкая на свете. Она и самая опасная. Потому что, как верно заметил Ленин, «*скрывают* от народа только *дурные* вещи». Но «когда речь идет о *гнусности* в делах общенародных, *долг* гражданина *заставить* укрывателей заговорить».

Вот и Кузнецов убежден: это его долг — заставить укрывателей правды заговорить. Да только как ему этот долг исполнить? Все возможности свои исчерпал. Так, может быть, новые предложим?

ЭКОНОМИКА И ГОСУДАРСТВО

Николай ПЕТРАКОВ,
член-корреспондент АН СССР

ПЕРВОПРИЧИНА ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА

Самым тяжелым наследием сталинской эпохи, наследием, каждодневно ощущаемым буквально всеми слоями населения, является болезненное, кризисное состояние нашей экономики. Хозяйственная политика застойных лет лишь усугубила ситуацию, поскольку, спасовав перед нарастающими экономическими проблемами, руководство страны решило в то время ограничиться поверхностной терапией с использованием привычных методов административного нажима. Результат оказался однозначным: ни одна из проблем не была решена, наследственные экономические болезни периода культа личности загонялись вглубь и становились все более взрывоопасными. А главное — был потерян контроль над динамикой социально-экономических процессов. Дело дошло до того, что о реальном положении нашей экономики не имели полного представления не только широкие слои населения, но даже и руководящее ядро страны. «Надо, товарищи, откровенно сказать,— подчеркнул М. С. Горбачев на XIX партконференции,— мы недооценили всей глубины и тяжести деформаций и застоя минувших лет. Многого просто не знали и только сейчас видим: запущенность дел в различных сферах экономики оказалась более серьезной, чем представлялось вначале».

Однако реальная жизнь существует независимо от того, желаем ли мы что-то о ней знать или, подобно страусу, прячем голову в песок при малейших неприятностях. А реальность состояла в том, что при огромной концентрации экономической власти, при практически не ограниченных возможностях централизованно, сверху решать вопросы любого масштаба — от строительства Байкало-Амурской магистрали и размещения атомных электростанций до производства зубной пасты и детских колготок — экономика страны стала неуправляемой. Если судить по конечным результатам, то планомерность развития нашего народного хозяйства, которую мы давно и привычно принимаем за аксиому, выглядит довольно странно. Мы привыкли к очередям, к перебоям в снабжении товарами, бывшими еще вчера общедоступными. Все это списывается на отдельные недостатки отдельных ведомств и лиц. Они, видно, лично плохо планируют. Накажем, заменим, и все будет хорошо.

Правда, и здесь уже, как говорится, на бытовом обывательском уровне западают в память такие факты, что десятилетиями не хватает прохладительных напитков летом и перед праздниками, исчезает шампанское перед Новым годом, надувные матрасы — перед купальным сезоном, тетради — перед началом учебного года и т. д. Хотя, казалось бы, предвидеть и спланировать покрытие этих не бог весть каких причуд в колебаниях спроса населения проще простого. Если же в планах это не закладывается или учитывается «не в полной мере», то, значит, сознательно планируется хаос, дезорганизация.

Плановый хаос! Нонсенс? Да мы же в нем живем по большей части с рождения. Тогда что же: вредительство? некомпетентность бюрократов? Старо и может сгодиться даже прожженному демагогу только для характеристики каждого отдельного случая. А ведь экономическая информация, выплеснутая на нас в последние месяцы, говорит о чем-то глобальном, общехозяйственном.

Дефицит государственного бюджета страны достиг почти ста миллиардов рублей. Информация об огромном бюджетном дефиците страны важна не только потому, что тем самым существенно расширена зона гласности в сфере экономической жизни. Гласность не нужна ради гласности, так же как производство ради производства в экономике. Важно, что оглашено обвинительное заключение (хранившееся многие годы в тайне) всей практике государственного планирования и управления народным хозяйством. Масштабы бюджетного дефицита дают обобщающую картину рукотворных диспропорций, созданных всей системой управления в целом. Именно в целом. На народнохозяйственном уровне уже бессмысленно выискивать отдельного козла отпущения или ссылаться на стрелочника — здесь ответственна вся система управления народным хозяйством.

Мы все меньше вспоминаем гордую мысль В. И. Ленина о социализме как экономическом строе, обеспечивающем наивысшую производительность общественного труда, а следовательно, и наивысший уровень благосостояния народа. Конечно, как-то неудобно об этом вспоминать, когда в области научно-технического прогресса мы то и дело смотрим в затылок Западу, Японии, а то и Южной Корее. Но ведь это плоды многолетней деятельности (не поворачивается язык сказать «работы», поскольку последняя предполагает получение полезных результатов) государственных плановых органов. Еще в конце 50-х годов выяснилось, что плановые органы «просмотрели» прогрессивные структурные сдвиги в развитии топливно-энергетического комплекса. Потом эти «просмотры» повторялись с удручающей закономерностью и в отношении микроэлектроники, компьютерной техники, биотехнологии, дизелизации, лазерной техники, технологии обработки черных металлов, машиностроения и т. д. Не потому ли в конечном счете сложилось так, что потребление населением СССР в расчете на душу составляет от уровня США: по мясу — 50 процентов, фруктам и растительному маслу — менее 50, товарам длительного пользования — 14, текстилю — 30, мебели — 27, автомобилям — 5. И все это «потребляется» у нас через очереди, метания по магазинам, различного рода заказы и талоны. Но зато мы потребляем 104 кг картошки в год на человека, утерев нос родине картофеля (там этот показатель составляет всего 58 кг). С сахаром у нас тоже все «хорошо» — 42 кг против 29 кг в США.

Все это итоги государственной системы управления. Могут сказать: мы этого не хотели или мы хотели совсем не то! Тем хуже. Значит, не ведаем, что творим. Ведь все, кроме стихийных бедствий и некоторых «происков империалистов», мы создали сами, заложили в планы, успешно их выполнили и даже перевыполнили, а нереальные планы откорректировали и тоже выполнили. Но, как видим, получили картину, далекую от той, которая виделась В. И. Ленину. Замалчивать это глубокое расхождение между тем, к чему стремились и что получили,— значит вольно или невольно реабилитировать сложившуюся систему управления экономикой. Я думаю, что административно-командные методы и формы регулирования хозяйственной жизни, господствовавшие многие десятилетия в нашей стране, являются лишь логическим следствием порочной трактовки содержательного смысла самого понятия «управление социалистической экономикой».

Это результат принятой концепции планирования экономики. В основе этой концепции, по моему глубокому убеждению, принцип максимальной экономической эффективности никогда (в последние 60 лет) не лежал. Поэтому и используемые методы не направлены на достижение наибольшего конечного экономического результата. Какова цель, таковы и средства.

Однако не перегибаем ли мы в этом вопросе палку, особенно когда речь идет о последних годах? Ведь часты с недавних пор стали речи о научно обоснованном планировании, о выборе наиболее эффективных решений, о правильной формулировке социально-экономических целей и поиске рациональных путей их достижения. Да, все это так. Но не наблюдается ли здесь какая-то неразбериха или недоговоренность, что ли? Скажем, предприятие выпускает пользующуюся спросом продукцию, к тому же недорого. Ну и пусть выпускает на здоровье. Пусть расширяется за счет своей прибыли и кредитов, строит жилье для рабочих и инженеров. При чем здесь государство? Брать налоги? Согласен. А зачем «научно обоснованно» сверху вмешиваться в хозяйственные дела? Вопрос. Часто на него отвечают в том духе, что, мол, предприятию надо помочь со снабжением, в поиске хозяйственных партнеров, в составлении планов научно-технического развития. Ну что же, это правильно. Но ведь все это посреднические функции или такие, во всяком случае, которые следует выполнять на равноправной хозрасчетной основе. При чем же здесь «вышестояние» органов государственного управления и планирования? Вышестоящие для того и существуют, чтобы давать директивы нижестоящим. Но если хозяйственные дела идут хорошо, то всякий приказ сверху, нарушающий гармонию, идет в ущерб экономической эффективности. А если дела у предприятия плохи, тогда государственное вмешательство оправданно? Положительный ответ на этот вопрос не очевиден. Ведь помочь на строго экономической основе могут и банки и даже смежники. А если помощь безвозвратная, то возникает сложная проблема ее целесообразности. На покрытие убытков предприятий государство ныне тратит ежегодно 11 миллиардов рублей. Источник этих расходов известен: эти деньги отобраны у хорошо работающих предприятий.

На XXVII съезде КПСС была сформулирована задача: решительно переломить неблагоприятные тенденции в развитии экономики, придать ей должный динамизм, открыть простор инициативе и творчеству масс, подлинно революционным преобразованиям. Сама формулировка задачи свидетельствует о возврате к ленинской трактовке соотношения между политикой и экономикой. На съезде говорилось, что это задача, которую предстоит решать партии, всему народу.

Каким же должен быть вклад государственных институтов в ее решение? В каком направлении должны преобразиться их функции и структура? Эти вопросы на сегодняшний день столь же актуальны, сколь и запутанны. Причем разброс точек зрения сложился невиданный: от возврата (сохранения?) сталинской концепции экономической роли государства до предложений полностью отказаться от централизованной системы планирования. Такая поляризация взглядов прискорбна, поскольку не предвещает ни скорого завершения дискуссии, ни конструктивизма в подходе спорящих к решению реальных проблем. Но сложившаяся ситуация вполне объяснима. Экстремизм в высказываниях подпитывается, с одной стороны, тем фактом, что, как только немного «отпустили вожжи», все экономические болячки, так долго загоняемые внутрь, вылезли на всеобщее обозрение; а с другой стороны, осознанием того, что за все, буквально за все провалы и диспропорции в экономике, за разрушение природы и высокую детскую смертность, за запущенность социальной сферы и производственной инфраструктуры несет ответственность централизованная государственная система управления, ибо никакой другой более полувека не было. И это историческая правда. Добавим только, что ответственность должна быть по справедливости возложена не на саму идею централизованного государственного воздействия на экономику, а на ее сталинскую форму реализации. Чтобы разобраться, где идея и где ее интерпретатор, и в каком звене возникла фальшь, совершим небольшой исторический экскурс.

ГОЛОСА ИЗ ПРОШЛОГО

Роль государства в экономической жизни страны обсуждалась на всех уровнях: от партийных съездов до студенческих семинаров в течение всего периода, который история отпустила нэпу. Участвовали в дискуссиях политики, ученые, хозяйственники. Спорили остро, но аргументированно. Никто не отрицал необходимости планирования советской экономики. Такое единодушие тем более знаменательно, что обсуждали проблему не только большевики с революционной закваской, но и профессиона-

Продолжение на стр. 14.

ФОТОВЕРНИСАЖ

Николай
РАХМАНОВ

Фотографии Николая Рахманова отличаются драматической насыщенностью цвета, артистичностью форм, умением говорить молча, пользоваться эзоповским языком образа.

Это не означает, конечно, что каждую фотографию нужно разглядывать, как ребус, но, несмотря на свойственную Рахманову спонтанность, непредсказуемость, нечаянного в его кадрах нет. Они не просто выстроены: они существуют сначала в его воображении, а потом на пленке.



Мы скоро позабудем, и не понять будущим культурологам, отчего во многочисленных иллюстрированных изданиях 70-х — начала 80-х годов так много голубого неба. Официального постановления насчет того, чтобы по всей стране в фотографиях навсегда — два часа дня, конечно, не было, но «существовало мнение», что нет и не может быть ни ночи, ни крестов, ни закатов в счастливом и благоустроенном государстве незаходящего солнца.

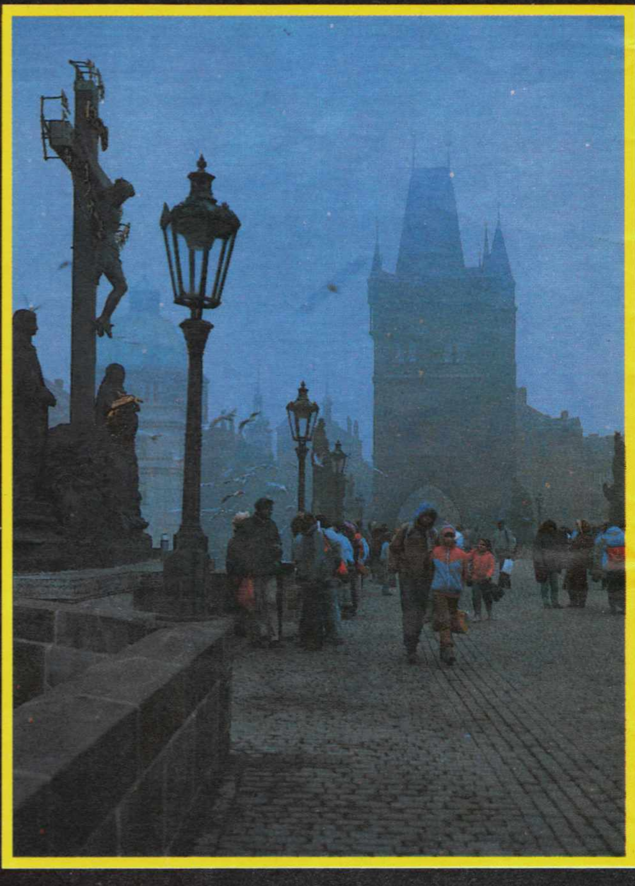
Голубоглазые фотографические химеры помаленьку исчезли с прилавков книжных магазинов; канули неизвестно куда их авторы, и оказалось, что профессиональных фотографов, снимающих

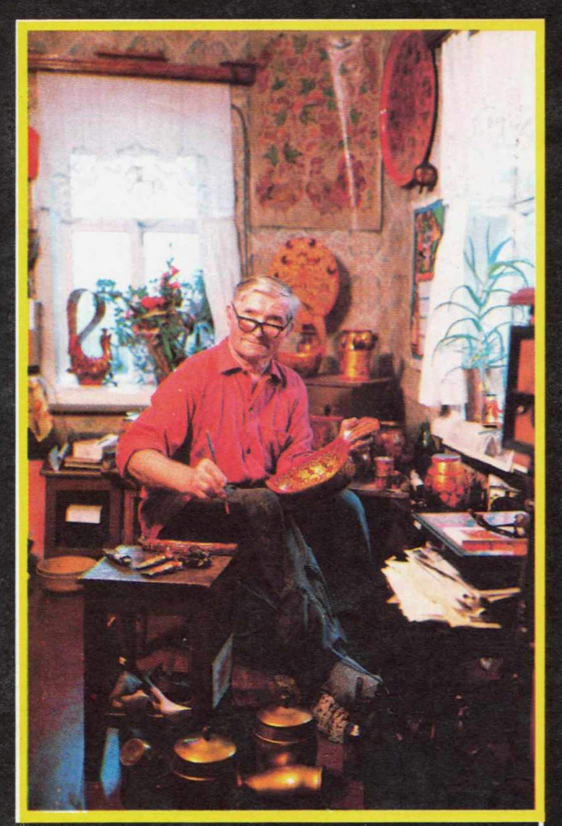
только «на цвет», у нас очень немного, и Николай Рахманов из их числа.

Он не любит определение «фотохудожник», считает, что фотография давно и повсеместно стала самостоятельным искусством, подлинность которого уже не оспаривает никто в мире, и, следовательно, незачем брать взаймы... Себя считает фотографом, не более и не менее того.

Обычно принято писать, что фотограф «внимательно всматривается в жизнь»; про Николая Рахманова этого нельзя сказать. Он вслушивается и вглядывается в себя, в то, чем живет душа в данное мгновение. Это и снимает.

Его портреты откровенно, вызывающе постановочны







и декоративны. Это принцип, сознательно избранный, и фотограф верен ему. Но в продуманности, выстроенности каждого портрета есть одна особенность. Н. Рахманов снимает так, как будто это диалог между ним и моделью, иногда даже с оттенком вызова.

Многие годы Николая Рахманова преследовала, если позволительно так выразиться, слава фотографа, снимающего Москву, только Москву. Для своего вернисажа он выбрал фотографии, сделанные в разные годы в Ленинграде и Праге, в Армении и Горьковской области... Но дело не в географии. Как всегда, как все тридцать пять лет творческой работы, он верно, преданно и нежно служит своей единственной музе — искусству фотографии.

Виктория КУДРИНА

АННА АХМАТОВА

ИЗ ЛИТЕРАТУРНЫХ ВОСПОМИНАНИЙ *

Наталия РОСКИНА

Я пришла к Анне Андреевне летом 1945 года. Мне тогда было семнадцать лет, и это определило характер нашего знакомства. Я просто позвонила ей по телефону, сказала, что я московская студентка, приехала в Ленинград на каникулы, пишу стихи, мечтаю показать их ей. «Пожалуйста, приходите. Завтра, в четыре часа». И она положила трубку, не спросив меня, знаю ли я ее адрес. Жила она в то время на Фонтанке, в Шереметевском дворце, и считала, видимо, что это всем известно...

Жила Ахматова тогда — даже не скажешь: бедно. Бедность — это мало чего-то, у нее же не было ничего. В пустой комнате стояло небольшое старое бюро и железная кровать, покрытая плохим одеялом. Видно было, что кровать жесткая, одеяло холодное. Готовность любить, с которой я переступила этот порог, смешалась у меня с безумной тоской, с ощущением близости катастрофы... Ахматова предложила мне сесть на единственный стул, сама легла на кровать, закинув руки за голову (ее любимая поза) и сказала: «Читайте стихи». Теперь, конечно, странно вспомнить, что я стала читать, ничуть не смущаясь. Она одобрительно кивала. Впоследствии я узнала, что Ахматова не в силах была обидеть кого бы то ни было дурным отзывом. Она рассказывала: «Если мне не нравится, я молчу или говорю что-нибудь вялое, человеческое...».

Вскоре общие друзья передали мне отзывы Ахматовой: «Независимая девочка, не то что некоторые — сразу от двери начинают ползти по ковру». Друзья назвали меня «своей». «Пусть девочка приходит»,— сказала им Ахматова. И я стала бывать у нее часто, два-три раза в неделю, весь июль и август. Я звонила ей по телефону, она коротко говорила «можете прийти» (по телефону она вообще всегда была односложной, ненавидела его, по-моему), я шла в ее Фонтанный дворец, в эту такую недворцовую комнату.

Ахматова страдала от одиночества. Я поняла это, когда сама пожаловалась ей на одиночество. Я рано осталась сиротой и с шестнадцати лет жила в Москве одна, в комнате, где когда-то жил мой отец. «Есть уединение и одиночество,— сказала она.— Уединения ищут, одиночества бегут. Ужасно, когда с твоей комнатой никто не связан, никто в ней не дышит, никто не ждет твоего возвращения».

Для самой Ахматовой в ее уединении и одиночестве был неожиданным тот взрыв любви и восхищения, которым ее одарили москвичи на знаменитом вечере в Колонном зале в 1946 году, когда она читала стихи вместе с Пастернаком. Вечер этот описан многими. Ахматова тогда была в черном платье, на плечах — белая с кистями шаль. Держалась она на эстраде великолепно, однако заметна была скованность и какая-то тревога. Наконец, ей пришлось встать: «Наизусть я своих стихов не знаю, а с собой у меня больше нет». Залу было ясно, что это вынужденные слова. Овации продолжали греметь: проницательная, отнюдь не наивная политически Ахматова сразу же почувствовала, что они не сулят ей добра. Этот вечер вскоре оказался для нее роковым.

Оживление наступило в доме Ахматовой ненадолго — когда вернулся с войны, из Берлина, ее сын Лев Николаевич Гумилев. Однажды Анна Андреевна открыла мне дверь в дорогом японском халате с драконом. Она сказала: «Вот, сын подарил. Из Германии привез». Ведь, в сущности, ей всегда так хотелось простых женских радостей. Очень была она в тот день веселая...

Иногда Анна Андреевна предлагала пойти погулять. Ленинград знала она изумительно, говорила: «Люблю архитектуру больше всех искусств». Знала автора каждого здания, знала историю его перестроек,— с той культурой знания и той дотошностью, которую она, при кажущемся отсутствии педантства, вносила во все, чем увлекалась. Она любила подвести меня к красивому месту каким-то новым ходом, чтобы оно открылось внезапно, любила обращать мое внимание на всякие тонкости зодчества и трогательно радовалась моему восхищению.

Ярко помню одну нашу прогулку к Инженерному замку, где ей нравились красиво и обдуманно посаженные цветы. Еще хлеб давали по карточкам (да и все прочие продукты), а ленинградцы послеблокадные украшали свой измученный город, и это ее восхищало. Она была оживлена и несколько раз повторила: «Какие молодцы! Ах, какие молодцы!» Был чудесный солнечный день, и весь облик Ахматовой был так гармонически близок архитектурному пейзажу, и так весело она щурилась на солнце... Боже, как полны ею мои семнадцать лет! А потом я десять лет не видела ее веселой.

За тебя я заплатила чистоганом —
Ровно десять лет ходила под наганом...

Впоследствии Анна Андреевна часто рассказывала всем, как она узнала о касающемся ее и Зощенко постановлении ЦК. Газет Анна Андреевна не получала, радио у нее не было. Она ничего не знала! Кто-то позвонил и спросил, как она себя чувствует. Позвонил и еще, и еще кто-то. Не чуя беды и лишь слегка недоумевая, она ровно отвечала всем: все хорошо, благодарю вас, все в порядке, благодарю вас... И выйдя зачем-то на улицу, она прочла, встав на цыпочки, поверх чужих голов, газету с докладом Жданова.

Жизнь для нее остановилась. Когда я позвонила ей, приехав в Ленинград через десять дней, она ответила, что чувствует себя, спасибо, хорошо, но что повидаться со мной не сможет. Голос ее был мертвым.

Два месяца после этого я знала об Анне Андреевне только одно — что ее не арестовали. В свой следующий приезд я была более настойчива, сказала, что очень прошу ее со мной встретиться. Ахматова назначила мне свидание у Русского музея. С ужасным волнением я ждала ее на холодной скамейке, в плохую ноябрьскую ленинградскую погоду. Ахматова стала мне говорить, что с ней нельзя встречаться, что все ее отношения контролируются, за ней следят, в комнате — подслушивают; что общение с нею может иметь для меня самые страшные последствия. Нас обеих знобило. Анна Андреевна смотрела в сторону, не на меня. Но как только я почувствовала, что она просто за меня боится, я сразу повеселела и ответила ей, что я совсем и не думаю ни о чем таком и думать не хочу. Анна Андреевна продолжала говорить о необходимости быть осторожной, но я уже поняла, что это говорится по долгу, а не по сердцу. На самом деле она была мне рада, вдруг перестала это скрывать и, взглянув на меня с нежной жалостью, сказала тихо: «Миленький!»

Провожая Анну Андреевну, я взяла с нее слово, что она не будет меня отталкивать. Но когда мы стали прощаться у Фонтанного дома, на ее лицо вернулась каменная маска, и она едва кивнула мне, проходя в парадное.

Это был не обычный дом, а здание Главсевморпути. У входа сидел вахтер и спрашивал пропуск. Гостям Ахматовой он постоянно делал замечание — «почему засиделся» или что-то в этом духе. Сама она обязана была предъявлять удостоверение на право входа в собственную квартиру, настоящее удостоверение с фотографией. В графе «профессия» было написано: «жилец». Совсем незадолго до смерти она вынула его из сумочки и показала мне со смехом — помните? Я не сумела засмеяться. На меня глянула жуткая фотография тех лет, испуганные, широко раскрытые глаза.

Неуют холодной ахматовской комнаты принял тюремный характер. Анна Андреевна дома почти ничего не говорила, а только все показывала на потолок. Обычно мы бесприютно гуляли по безлюдным местам, обмениваясь короткими репликами. Длящийся кошмар разрешался лишь в худшую сторону. Осенью 1949 года опять был арестован Лев Николаевич Гумилев. Об этом своем горе Анна Андреевна никогда со мной не говорила. Одно только: я приехала в Ленинград, пришла к ней, ничего не зная, спросила запросто: «А где Лева?» — она ответила: «Лева арестован». Звук этих слов — полувскрик, полустон, полушепот — до сих пор стоит у меня в ушах.

Это был третий арест его: первый раз — в начале тридцатых годов, второй раз — в конце тридцатых, с приговором к расстрелу... Такова была судьба Анны Андреевны, каждое горе приходило к ней не один раз, а повторяясь, дважды, трижды...

После постановления ЦК и исключения из Союза писателей Ахматову лишили продовольственных карточек. Она получала крошечную пенсию, на которую жить было невозможно. Друзья организовали тайный фонд помощи Ахматовой. По тем временам это было истинным героизмом. Анна Андреевна рассказала мне об этом через много лет, грустно добавив: «Они покупали мне апельсины и шоколад, как больной, а я была просто голодная». Летом 1950 года Анна Андреевна попросила меня отвезти ее в Москву. Она плохо переносила дорогу и уже не ездила без провожатых. Как я теперь понимаю, главной целью ее поездки были хлопоты о сыне. Перед отъездом она так нервничала, что не разрешала мне отойти ни на шаг, и я даже не попрощалась с теми, кто меня провожал. Всю ночь Анна Андреевна и, конечно, я с нею, не смыкала глаз. Мы тихо разговаривали под храп незнакомых попутчиков. Дорога из Петербурга в Москву навела ее на воспоминания о Блоке, об их случайной встрече. Дословно помню ее слова: «Блок был немного странен. Всегда все, что он говорил, было чуть сдвинуто в сторону. Однажды я ехала из Киева, поезд остановился на станции Подсолнечная. Я вышла в тамбур прикурить и вдруг прямо перед собою увидела на платформе Блока. Он спросил: "С кем вы едете?" Я очень удивилась, ответила: "Я еду одна" — и поезд тронулся. А в последний раз я видела его на пушкинском вечере, знаете, этот знаменитый вечер незадолго до смерти Блока. Все мы были голодные, замерзшие, одетые во что попало. Блок ко мне подошел и спросил: "А где же испанская шаль?"».

Анна Андреевна стала подолгу жить в Москве, по нескольку месяцев. Ее здесь держали хлопоты о сыне, да и еще чем-то легче было все-таки в Москве, отчего ведь в конце концов множество ленинградцев в Москву переехали. К тому же жить с Ардовыми ей было всегда удобно, мальчики — три сына Нины Антоновны — охотно исполняли поручения Анны Андреевны. Войдя в этот дом, можно было почувствовать, что она там любима и желанна.

...Летом я приезжала в Ленинград, и мы по-прежнему много ходили по улицам и садам, иногда вместе обедали в каком-нибудь кафе; однажды, направляясь в «Квисисану», мы встретили М. М. Зощенко. Он бросился к Анне Андреевне, стал горячо целовать ей руки, она тоже явно взволнована была этой встречей. И когда он отошел, произнесла задумчиво: «Мишенька...» А потом, смеясь, обратилась ко мне: «Ну знаете, Наташа, я считаю, что сделала для вас все возможное. В каком это еще городе вам к приезду устроят встречу Ахматовой с Зощенко?» И мы еще долго о нем говорили, Анна Андреевна ведь очень высоко ценила его как писателя, говорила, что «Голубая книга» — «это чудо».

Зощенко был в ту пору более спокойный, оживающий, он уже получил высочайшее разрешение зарабатывать переводами. А года за два до этой встречи у нас с Анной Андреевной был о нем такой разговор. Зощенко дали напечатать маленький рассказ. Это, конечно, был уже некий политический акт послабления, но рассказ был плохой, и все это тоже невольно отметили, сказала и я: рассказ-то плохой! Анна Андреевна очень рассердилась. «Да, вот со всех сторон только одно и слышу — Зощенко написал плохой рассказ. А скажите,— почему они думают, что он должен писать для них хороший рассказ? А они хорошие? А они — что делали?» Я молчала, благодарная ей за этот урок. К тому же вопрос этот был для Анны Андреевны особенно больным. Ведь она вынуждена была послать в «Огонек» стихотворение о Сталине — ее сын был заложником в лагере, но, разумеется, стихи не помогли.

Писала Анна Андреевна в те годы мало. Ей предоставили возможность зарабатывать переводами:

* Журнальный вариант. Полностью воспоминания выйдут в журнале «Звезда».

это спасло ее от голода, но она не раз говорила мне, что переводить и писать свое одновременно — немыслимо.

Теперь положение было такое, что отказываться от работы никто не мог, и Анна Андреевна частенько брала переводы стихов, чтобы передать их нуждающимся литераторам. Однако, конечно, все равно ей приходилось тратить на это уйму времени, когда соавторствуя, когда выправляя, и я не в силах была скрыть от нее свою горечь: ведь кто может знать, чего мы из-за этого лишились?

С юности она читала латинских авторов, Овидия, Горация; знала французский, немецкий, итальянский. Лет тридцати она, по ее словам, подумала: «Как глупо прожить жизнь и не прочесть в подлиннике Шекспира». Шекспир был ее любимейшим писателем из не-русских. (Из русских — Пушкин и Достоевский.) Она стала заниматься английским языком: первые несколько уроков ей дал Маршак, а потом сама читала всякие грамматики и самоучители, часов по восемь в день. «Через полгода я свободно читала Шекспира».

Она следила и за новой литературой. Между прочим, очень любила детективные романы («Ночь с детективом — это чудесно»); но, кажется, это был единственный род плохой литературы, который она признавала. Чаще всего она читала замечательные книги. Все великое было ей сродни. Я заставала ее за перечитыванием Данте по-итальянски.

Да и вообще она была великолепно образованным человеком. Очень хорошо училась в гимназии и благодаря своей богатой памяти помнила все, чему ее учили. Она сказала: «Я и физику помню, но ведь при мне ее знали только до телефона». Всем она интересовалась и ценила реальные знания, особенно если они были сформулированы кратко и выразительно. И ее суждения о политике всегда были самостоятельны и интересны. Например, когда японцы напали на Пёрл-Харбор и потопили американский флот, она сказала: «Американцы — простодушные дети, но своим зверством японцы превратят их в зверей». Эти свои слова она вспомнила и повторила мне, когда на Японию была сброшена американская атомная бомба. А ведь мы теперь забываем, что тогда лишь очень немногие и очень проницательные люди не обрадовались этому взрыву — концу войны, любой ценой концу войны.

В 1945 году она говорила мне о невероятно растущей роли женщин в современном мире. «Мужчины скоро вообще ничего не будут делать сами. Скоро они заявят: «Война — это не мужское дело, и только откуда-то из центров будут руководить отрядами амазонок».

Она не любила осуждать людей и редко говорила о них дурно — о знакомых или о незнакомых. Однажды я пожаловалась ей на одного общего знакомого, злоязычного сплетника. Она подняла брови: «Правда? Да, все что-то говорят, но со мной он — как ангел».

Разумеется, длительно зная Анну Андреевну, я иногда видела ее кем-то недовольной, знала некоторые ее антипатии, но за ними всегда стояло что-то существенное.

Кратко и ясно она квалифицировала казусные ситуации. В 1961 году я подарила ей американский, только что вышедший, сборник «Воздушные пути», где впервые были изданы стихотворения Мандельштама из «Воронежских тетрадей» и «Новых стихов». Это издание в Америке делалось энтузиастами — любителями русской поэзии; никаких доходов издателю Р. Н. Гринбергу оно не приносило, напротив, приносило убытки. Сразу ясно было, что публикация сделана по плохим спискам. Ошибки, опечатки, неточности бросались в глаза. Что делать — список был вывезен за границу без ведома вдовы поэта и не был сличен с авторизованными источниками,— не правда ли, и на том спасибо. Однако Надежда Яковлевна Мандельштам стала на другую точку зрения, и мне рассказали, что она собирается писать открытое письмо редактору «Воздушных путей» и печатать его в «Литературной газете». Я тут же помчалась к Анне Андреевне и стала длинно выражать свое возмущение. Она остановила меня движением руки: «Я уже Наде все объяснила. Я сказала ей, что нельзя состоять в двух партиях сразу».

На один мой обвинительный монолог она не ответила ни одним возражением, а сказала только: «Я ее люблю». Ее правилом было не рассказывать о близких людях никаких подробностей.

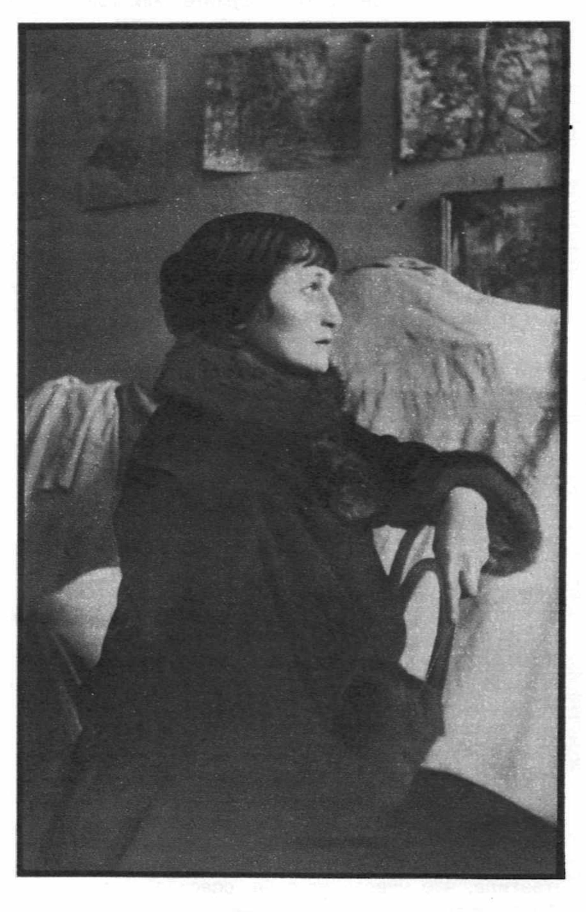
Но вот одно из редких исключений. Алексей Баталов, еще совсем молодой, в расцвете своей славы, только что вернулся из поездки в Париж, с триумфальной демонстрации фильма «Летят журавли». И тут же собрался ехать на Сахалин. Здоровье его было в неважном состоянии, и его мать Нина Антоновна очень огорчалась, просила Анну Андреевну отговорить его. Анна Андреевна сказала ему наедине: «Алеша, зачем вам ехать, ведь там такой тяжелый климат, это же каторга». А он ответил: «Мне так хорошо было в Париже, я должен теперь это искупить».

Эта фраза глубоко тронула Ахматову. Она была религиозна, и это, конечно, было весьма существенной стороной ее личности. Основой ее мужества и патриотизма была именно вера. Она верила, как современный человек, со всей широтой философского восприятия жизни и с широким приятием православной церкви.

Своей религиозности она не скрывала и крайне редко о ней говорила. Фрида Вигдорова рассказала мне,— быть может, анекдот, выдуманный самой Ахматовой,— что ей как-то позвонили из антирелигиозного журнала с просьбой дать стихи, и она ответила: «Это не мой профиль».

С такой же широтой она относилась и к национальным вопросам. Она говорила мне, что никогда в жизни не умела отличить еврея от русского. «В мое время среди интеллигенции и не было другого воспитания,— рассказывала она.— Вот Ирочка Пунина вышла замуж за Романа Альбертовича и только потом узнала, что он еврей».— «То есть как?— изумилась я.— Ведь его фамилия — Рубинштейн». «А она не знала, что это еврейская фамилия. Думала — у одного русского фамилия — Иванов, у другого — Рубинштейн. Да, в мое время только так и было».

Другая важнейшая ее черта — аристократизм.



Фотография 30-х гг.

И внешности, и душевному ее складу было присуще необычайное благородство, которое придавало гармоничную величавость всему, что она говорила и делала. Это чувствовали даже дети. Она мне рассказывала, как маленький Лева просил ее: «Мама, не королевствуй!» Страх оказаться рядом с ней мелким сковывал самых близких ей людей. Она это понимала и часто страдала от этого. Когда у нее был роман с Гумилевым (он длился много лет, значительно дольше, чем их брак), она уехала в Крым. Гумилев поехал туда, чтобы с ней увидеться. Он приехал к даче, подошел к забору и заглянул в сад: она сидела в белом платье на скамье и читала книгу. Гумилев постоял, не решился окликнуть ее и уехал в Петербург. Она рассказывала мне это и с горечью, но и с гордостью, ибо именно такою была в ее представлении истинная любовь поэта.

У Анны Андреевны были, конечно, свои недостатки, но они как-то ничего в ней не нарушали. Она была очень цельным и крупным человеком, и очень ясным,— как и ее поэзия.

* * *

Я никогда не записывала ничего после разговоров с Анной Андреевной, хотя сознавала их ценность не для себя одной. Она никогда не говорила зря. Болтливость, суесловие, ломанье — все это было ей как никому чуждо. Она говорила интересно — или молчала. Притом ее высказывания были так лаконичны и остроумны, что, казалось бы, чего проще донести их до бумаги. Но, во-первых, это только казалось. Речь ее была такой, что теперь, вспоминая ее, я чувствую: на бумаге слишком много слов. Она никогда не употребляла современных словечек, а если употребляла, то иронически, приговаривая: «Знаете, как теперь говорят»... И вместе с тем никогда не выражалась старомодно. Очень терпима она, кстати, была к тому, как говорили при ней.

Сама Анна Андреевна не хотела и не любила, чтобы записывали ее слова. В черные времена она считала это опасным для собеседника. Ей тогда казалось, что самое ее имя обладает какой-то силой проклятья.

Чувство необыкновенного никогда в ее присутствии меня не покидало, и думаю — никого не покидало. Длить это чувство дома, чувствовать себя Эккерманом при Гете — я не умела.

Теперь, конечно, я жалею об этом, и всегда знала, что когда-нибудь буду жалеть.

Кое-что случайно все-таки оказалось записано. В 1950—1952 годах я часто писала об Анне Андреевне одному нашему общему ленинградскому другу.

«Как-то я говорила Анне Андреевне, что горюю о ранней смерти Пушкина, а она мне отвечала, что в истории все делается вовремя. «Пушкин,— сказала она,— был бы немыслим в сороковых годах, его бы все забыли, это было бы ужасно».

Анна Андреевна говорит: «Чехова я не люблю и знаю почему. «Рассказ неизвестного человека» — как это фальшиво, искусственно. Ведь Чехов совершенно не знает эсеров. Вы не представляете себе, деточка, какие это были оглашенные. Когда умер великий князь Владимир Александрович, они волосы на себе рвали, что не они его убили, а он был никому не нужный старый развратник. Но они не могли себе простить, что дали ему умереть своей смертью. А что Чехов делал? Заставил эсера влюбиться в какую-то женщину — да разве это та женщина, ради которой вообще что-то бросают? Бегает целый день по магазинам и говорит глупости... несусветные глупости. Но мало того, разве Чехов знает чиновничество? Высшая петербургская бюрократия — а он из них делает каких-то околоточных из Царево-Кокшайска! Ходят в спальню, хихикают там над туфлями — да где это видано! Это бог знает что.

И Чехов многого не видел. Как-то близоруко смотрел на Россию. Так нельзя — слишком близко, тогда видны только тараканы в щах. А я вот сейчас читаю пушкинские материалы к истории Петра. Россия — уж куда сухопутнее! Да русские максимум воду видели, когда умывали лицо в речушке. А шведы — викинги! Полезли воевать со шведами. Бьют их — как хотят! И на море, на море бьют, вот что поразительно!

— А как же это?

— А я, деточка, не знаю как. Но надо это видеть, и вот Пушкин это видел, а Чехов не видел, нет. Нет, нет, конечно, я знаю, что вы его любите, но все-таки, согласитесь, он был такой близорукий... в пенсне... Нет».

«Достоевский у меня самый главный. Да и вообще он самый главный. Я сейчас как раз перечитывала «Преступление и наказание». Только вот, знаете, мне кажется, что вся линия Мармеладовых — лишняя. Это у него осталось от старого замысла, от «Пьяненьких». Это еще слабость писательская, в более поздних вещах у него этого нет. Нам все время хочется быть с ним, мучиться вместе с ним, а приходится слушать про Мармеладовых каких-то; Соня была ему нужна, но незачем прицеплять к ней маму, папу, трех детей.

И как это гениально, что Раскольников возненавидел потом мать и сестру, они были связаны для него с «этим», и он их видеть не мог...»

После смерти Сталина Ахматовой сразу стало легче, хотя бы в денежном отношении. Вышел ее перевод пьесы «Марион Делорм» в собрании сочинений Виктора Гюго, она получила первые крупные деньги,— они доставили ей много удовольствия. Правда, она никак не изменила своего быта и не предалась жизнеустройству. Прожив всю жизнь бездомной, она не стала на склоне лет обзаводиться хозяйством. Я как-то спросила Анну Андреевну: «Если бы я стала богатой, сколько времени я получала бы от этого удовольствие?» — Она ответила с присущей ей ясностью: «Недолго. Дней десять». Когда у меня тоже завелись деньги, я спросила Анну Андреевну, что мне с ними делать. Она отвечала опять-таки твердо: «Строить жилье. Жилье — это главное». Но сама она по-прежнему просила пристанища — когда, случалось, у Ардовых не было места, жила у Западовых, у Ники Глен, М. С. Петровых, Л. Д. Большинцовой, М. И. Алигер, Шенгели... А ее ленинградская комната и позднее — комаровская дача («будка») являли собой прежнюю неприкаянность...

В 1956 году вернулся из лагеря Л. Н. Гумилев, чуть ли не позже всех. Анна Андреевна мучительно хлопотала о нем. Все вокруг возвращались, а ее хлопоты оставались бесплодными, и, мне кажется, она



Рисунок А. ТЫШЛЕРА. 1943.

была на пределе всех своих сил, когда Леву, наконец, освободили. Выдающиеся заслуги этого ученого были сразу же высоко оценены, и Анна Андреевна очень им гордилась, любила рассказывать о его успехах. И в чужих людях она очень ценила ученость, образованность, а тем более в своем сыне, который полжизни провел на каторге.

Лев Николаевич вышел из лагеря с последней волной «реабилитации». Анна Андреевна стала о себе говорить: «Я хрущевка», «я партии Хрущева». Долго она продолжала это твердить, настаивая, что Хрущеву можно простить многое за то, что он выпустил из тюрьмы невинных людей. Пожалуй, только процесс Иосифа Бродского оборвал ее симпатии к Хрущеву. Бродского она очень любила, очень ценила его стихи. Мне кажется, это был единственный поэт из молодых, кто был ей действительно по душе. Он ей импонировал, в частности, своей образованностью и одухотворенностью. Анна Андреевна редко читала вслух чужие стихи. Для Бродского она делала исключение. Многие его строчки она постоянно вспоминала, например: «Вы напишете о нас наискосок». Эту строчку, характеризующую ее почерк (строки загибались у нее вверх), она сделала даже эпиграфом.

Арест Бродского и суд над ним также бросили мрачную тень на последние годы Ахматовой.

И уж конечно горько пришлось ей во время истории с присуждением Пастернаку Нобелевской премии. Казалось бы, постановление ЦК о Зощенко и Ахматовой — в прошлом. И вот снова публичные поношения, гонения, позорные речи людей, которые, казалось бы, только что сами были гонимыми. Мрачные дни травли, когда никому не хочется друг на друга смотреть, глаз не хочется поднимать...

Когда Пастернак написал свое покаяние («Я пишу в «Правду», потому что люблю правду»), она мягко сказала: «Вот и не надо было рукопись давать итальянцам. Чем потом такие письма писать. В нашей стране на такие вещи могут идти только те, кто чувствует себя железным. А Борис ведь знал, что он не железный».

Когда я спросила ее о звонке Сталина Пастернаку о Мандельштаме, она ответила: «Мы тогда же подробно все с Надей обсудили и решили, что Борис вел себя на хорошую четверку». Она очень любила Пастернака, называла его часто «Борисик». Страшно радовалась встречам с ним и огорчалась, что эти встречи не одобряла Зинаида Николаевна Пастернак.

В конце пятидесятых годов страна пережила взрыв любви к поэзии. Молодежь узнала десятилетиями скрываемые стихи Цветаевой, Мандельштама, Заболоцкого.

О Цветаевой Ахматова сказала: «Мощный поэт». О Мандельштаме: «Это первый поэт XX века». Когда я сказала, что Мандельштам — это как Боратынский, она возразила: «Мандельштам крупнее Боратынского». Заболоцкого она не любила, хотя ценила — некоторые стихи — высоко. О стихотворении «Журавли» она сказала: «Это настоящая классика!» Когда я принесла ей рукопись «Признания», она сказала: «Прекрасное стихотворение! Только уж очень мужское». К Заболоцкому эпохи «Столбцов» она относилась, мне кажется, весьма прохладно, и уж, конечно, ей совсем не нравились его стихи в духе «Некрасивой девочки» или «Старой актрисы». Она сказала: «Все почему-то считают, что это похоже на Некрасова, а это похоже на Апухтина».

Из рук Анны Андреевны я получила тетрадку не опубликованных тогда еще стихов Арсения Тарковского — поэта, бесспорно ею чтимого.

Еще — о Блоке. Отношение Ахматовой к Блоку освещено уже достаточно, и я могу добавить только одно. Когда Анна Андреевна прочитала записные книжки Блока и увидела, что не оставила в них следа,— это уязвило ее. Не раз я слышала ее высказывания в таком духе: «Как известно из записных книжек Блока, я не занимала места в его жизни...»

На волне этого взрыва любви к поэзии поднялись и тогдашние молодежные кумиры: Вознесенский, Рождественский, Евтушенко, Ахмадулина. Ей не нравилась их шумность, их сенсационность, жадность до публики — ей и ее кругу представлений о поэте все это было очень чуждо. Она рассказывала мне, что Ахмадулина была у нее три раза, желая читать ей свои стихи, но все неудачно: каждый раз у Анны Андреевны начинался приступ стенокардии. Был у нее и Окуджава, и вот его стихи и пение ей нравились.

Ей он был интересен, и интересен секрет его успеха. Позднее она была очарована Галичем. Както я пришла к ней, году в 65-м; вместо «здравствуйте» она сказала мне: «Песенника арестовали». «Какого песенника?» «Галича». Дома я узнала, что этот слух уже широко гуляет по Москве, но, к счастью, он не подтвердился.

Вообще же про стихи «молодых» она говорила, что все они кажутся ей слишком длинными.

Кто только в эти годы к ней не ходил! В домашней среде это называлось «Ходынка» или «Ахматовка». Молодые поэты, старые девы, иностранцы всех мастей; «космополиты, патриоты, москвич в гарольдовом плаще»... Бог знает кто считал своим долгом побывать у Ахматовой. Дело дошло до того, что на собственном автомобиле прибыл с супругой Леонид Соболев. Забыв все, держался как гардемарин и чуть ли не по-французски говорил.

Побывал у Ахматовой и Паустовский,— неудачно. Он начал так: «Вот, собирался к вам ехать, не знал, какие штаны надеть». Ахматова обомлела. Паустовский смущенно пояснил, что он цитирует воспоминания Бунина о Чехове — как Чехов собирался ехать знакомиться с Толстым. Но это было совсем невпопад. Ахматова терпеть не могла Бунина, который написал на нее очень злую эпиграмму. («В мое время это было всем известно: кто самый злой? — Бунин». «Бунин не мог простить всему человечеству, что он гимназии не кончил».) Паустовский же, считавший себя учеником Бунина, и представить себе не мог, что Ахматова сочтет его шутку плебейской. Передавая мне всю эту сцену, она с усмешкой пожала плечами. Как, должно быть, расстроился деликатнейший Паустовский!

При мне — много раньше — Ахматова читала «Повесть о жизни» Паустовского. Она сказала, что первые страницы замечательные. «Помните, как он приехал, потому что отец умер, и не может переправиться через реку, а мать мечется на другом берегу»; все остальное не понравилось.

Исключительно высоко и проницательно Ахматова сразу же оценила Солженицына. Когда вышел номер «Нового мира» с «Одним днем Ивана Денисовича» и Солженицын стал необыкновенно популярен, он захотел побывать у Ахматовой, и она была этому очень рада. О свидании с ним она рассказывала в необычных для нее тонах. Ведь она привыкла к тому, что к ней приходят на поклон, а тут пришел человек, которому она сама готова была и хотела поклониться. Он читал ей свои стихи. На мой вопрос — хороши ли они? — она уклончиво ответила: «Из стихов видно, что он очень любит природу». Не удовлетворило ее и то, что Солженицын сказал о ее стихах. Она ему читала «Реквием», он сказал: «Это была трагедия народа, а у вас — только трагедия матери и сына». Она повторила мне эти слова со знакомым пожатием плеч и легкой гримасой.

К рассказу Солженицына «Матренин двор» Ахматова отнеслась восторженно. Она дала мне прочитать этот рассказ в рукописи, со словами: «Хочу сделать вам подарок». Другие рассказы Солженицына понравились ей значительно меньше; «Для пользы дела» совсем не понравился. Также и пьеса; о пьесе она сказала: «Какая-то средневековая». Но, в общем, кажется, это был единственный современный советский прозаик, кроме Зощенко, который ее понастоящему интересовал.

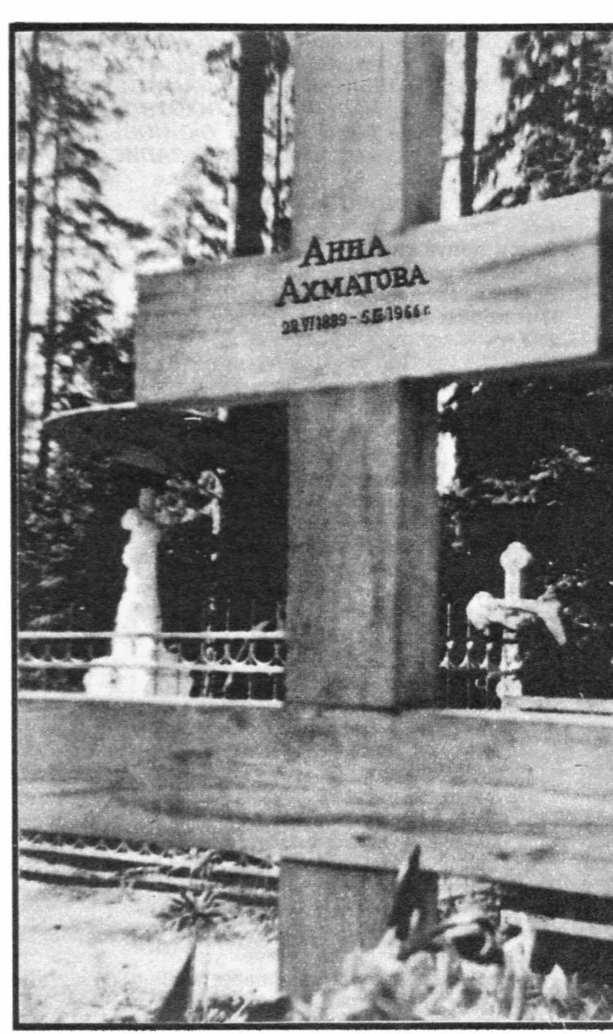
В сентябре 1965 года я пришла на Ордынку с рассказом об аресте Синявского и Даниэля. Самый факт ареста был ей уже известен, но я рассказывала, в чем заключается обвинение. Услышав, что Синявский печатался за границей под псевдонимом Абрам Терц, она этому не поверила. Она сказала: «Мне в Париже приносили книги этого Терца. Никогда не поверю, что это писал Синявский. Он был у меня и очень мне понравился. Синявский — это само добро, а Абрам Терц — это само зло. Нет, нет, это вообще не мог написать москвич. Сразу видно, что этот господин давно не был в Москве. Знаете, это ведь угадывается по деталям. Ну, может быть, он кончил здесь гимназию. Но с тех пор он в Москве не бывал».

Между тем вообще у Ахматовой был чрезвычайно высок интерес и вкус ко всему современному. Она охотно читала все новое, все, о чем говорили; интересовалась выставками, любила ходить в кино. После инфаркта возможности ее были ограничены, она стала очень грузной, и хотя ела чрезвычайно мало, никак не могла похудеть. Ходить ей было трудно, а по лестницам в особенности, каждый ее выход был осложнен необходимостью иметь провожатого, ловить такси. А до инфаркта она не пропускала хороших картин, и итальянский неореализм увлек ее, как и всех молодых. Она мне рассказывала, как полюбила кино с самого его детства, с маленького кинотеатрика, когда кино еще совсем не было искусством. Вот в таком кинотеатрике на Петербургской стороне показывали «познавательную ленту», про живопись, и под знаменитой картиной Репина был титр: «Пушкин читает, Державкин слушает». И вспомнив это, она залилась своим милым смехом.

Современная критика раздражала ее многословием. А что другой раз писали о ней, так и поверить теперь трудно. Я уж не говорю о временах «постановления». Но в 1960 году я, придя вечером на Ордынку, застала Ахматову в сердечном приступе. Оказалось, что утром она прочитала текст статьи Алексея Суркова, назначенный быть послесловием к ее сборнику «Стихотворения» в Гослитиздате. Она рассказала мне, что там были, например, такие выражения: «У Ахматовой не хватило ума...» В печатном тексте послесловия эти слова исключены, но все оно наполнено подобными развязными пошлостями.

Но и более удачные статьи, да и лучшие критические образцы всегда казались Ахматовой излишне подробными. Она так любила все лаконичное. При мне она получила письмо из лагеря от какого-то заключенного, совсем не сведущего в стихах и малограмотного — впервые имя Ахматовой он узнал, прочитав несколько ее стихотворений в журнале, и прислал в редакцию очень своеобразное письмо, где была о ее стихах — помню точно — такая фраза: «И каким-то холодком веет от раненого чувства

Могила Анны Ахматовой в Комарове.



простоты». Ахматова была в восторге от этого определения: «Ни один критик не сказал обо мне ничего подобного».

Однажды Анна Андреевна узнала от меня, что моей дочке-восьмикласснице задали в школе сочинение о Пушкине, и она начала его такой фразой: «От поэзии всегда ждешь невозможного, а Пушкин дает нам это невозможное». Эта фраза ей так понравилась, что она велела привести девочку, дала ей в руки свое золотое перо, свою большую записную тетрадку в переплете и сказала: «Вот, пожалуйста, сюда. Вы напишите, а я это сделаю эпиграфом к своей статье о Пушкине». Она говорила моей Ире «вы», хотя знала ее с рождения.

Анна Андреевна была противницей популярного литературоведения и особенно столь распространившегося к середине XX века жанра «Biographie romancée». Ей были интересны строгие исследования, построенные на документах, она читала их основательно, запоминала. Ее собственные литературоведческие интересы лежали в области Пушкинианы. Я была несколько смущена, когда мой товарищ по работе в «Литературном наследстве» литературовед Л. Ланский решил ей послать свою специальную статью — он подготовил к печати письма Натальи Александровны Герцен к ее возлюбленному Георгу Гервегу. Мне показалось старомодным показывать такую работу Ахматовой, словно она международный эксперт по женской любви. Но я ошиблась, статья Ахматовой понравилась, она просила меня поблагодарить автора, а о Наталье Александровне Герцен сказала: «Как хотите, а умереть от любви — это почтенно».

Судя по стихам, сама Ахматова много раз умирала от любви. Но в жизни она умерла после нескольких инфарктов, после бесчисленных приступов тяжелой стенокардии, которые она переносила мужественно, как и все в своей «жестокой жизни». Я навещала ее во многих больницах, где ей пришлось лежать, в Москве и в Ленинграде, и всюду наблюдала, как ее любили окружающие. И Анна Андреевна очень этому радовалась. Она мне рассказывала, как санитарка ей расчесывает волосы и приговаривает: «Нюра-буфетчица говорит, что ты хорошие стихи пишешь».

Отец Анны Андреевны рано умер — от первого приступа грудной жабы. Когда она расспрашивала врача о причине его смерти, врач сказал: «Вам эта болезнь не грозит. Во-первых, она не передается по наследству, а во-вторых, она почти никогда не бывает у женщин. Это болезнь служебных неприятностей». Судьба, однако, рассудила иначе, у Анны Андреевны была стенокардия.

В последний раз я видела Анну Андреевну в Боткинской больнице, в середине февраля 1966 года. Она сидела в кресле в коридоре и ждала — не придет ли кто. Посетителей было то очень много, то никого. В тот день, кроме меня, никто не пришел, и я провела у Анны Андреевны больше двух часов. Она была окрылена сообщением из «Советского писателя» о том, что ее книгу «Бег времени» собираются переиздать. Ей понравилась идея художника В. Медведева дать на суперобложку не весь портрет Модильяни, а только профиль из него. С большим удовольствием она выслушала мой рассказ, что у спекулянта ее книга уже стоит в десять раз дороже цены. Интересовалась подробностями о процессе Синявского и Даниэля. Рассказала мне, что шофер такси сказал: «Мы за Ахматову молиться будем». Расспрашивала о моем здоровье — я тогда тяжело хворала — и советовала не бояться больницы, говоря, что привыкаешь и ничего страшного.

Потом мы зашли в палату, и я вынула кое-что из сумки. Анна Андреевна посмотрела и обрадовалась: «Сок — вот спасибо! А то все почему-то яблоки приносят». (Яблоки ей было трудно жевать.) Я побежала искать открывалку. Анна Андреевна отпила. Эта старая тучная женщина, сидевшая на высокой больничной кровати, в тапочках на босу ногу, все равно выглядела по-королевски с чашечкой сока в руке, а рядом сияли прекрасные нарциссы. Я ушла в хорошем настроении, и ничто, ничто не подсказало мне, что я больше никогда ее не увижу.

* * *

На последней подаренной ею книге — надпись: «Милой Наташе Роскиной на память о многом. Анна Ахматова. 10 декабря 1965. Москва».

АННА АХМАТОВА. ИЗ ЗАВЕТНОЙ ТЕТРАДИ

МНОГИМ ЛЮДЯМ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ ПАМЯТНЫ СЛОВА А. А. ЖДАНОВА О БЕЗЫДЕЙНОСТИ «АРИСТОКРАТИЧЕСКО-САЛОННОЙ» ПОЭЗИИ АННЫ АХМАТОВОЙ — О ТОМ, ЧТО АХМАТОВА НЕ ХОТЕЛА НИЧЕГО ЗНАТЬ О НАРОДЕ, О ЕГО НУЖДАХ И ИНТЕРЕСАХ. НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ ЭТИХ СЛОВ БЫЛА ОЧЕВИДНА ЕЩЕ ТОГДА — В 1946 ГОДУ, ХОТЯ БОЛЬШИНСТВО ЕЕ СТИХОВ 20—40-Х ГОДОВ С ТАК НАЗЫВАЕМОЙ ГРАЖДАНСТВЕННОЙ ТЕМАТИКОЙ НЕ БЫЛИ И НЕ МОГЛИ БЫТЬ ОПУБЛИКОВАНЫ В ТО ВРЕМЯ. НЫНЕ ПОЧТИ ВСЕ СТИХОТВОРЕНИЯ ИЗ ЭТОГО «ЦИКЛА» НАПЕЧАТАНЫ. ВЕСЬМА ПОКАЗАТЕЛЬНА ИХ ТЕКСТОЛОГИЧЕСКАЯ СУДЬБА. ЕЖЕДНЕВНО ОЖИДАЯ НА ПРОТЯЖЕНИИ ПОЧТИ ДВУХ ДЕСЯТИЛЕТИЙ ОБЫСКА И АРЕСТА, АХМАТОВА НЕ МОГЛА ХРАНИТЬ У СЕБЯ ДОМА МНОГИЕ ТЕКСТЫ. НЕКОТОРЫЕ ОНА ОТДАВАЛА ЗНАКОМЫМ, ДРУГИЕ — УНИЧТОЖАЛА И ДЕРЖАЛА ТОЛЬКО В СВОЕЙ ПАМЯТИ, ТРЕТЬИ — ПРОСИЛА ЗАУЧИТЬ СВОИХ ЗНАКОМЫХ. ПУБЛИКУЕМЫМ НАМИ СТИХОТВОРЕНИЯМ ДОСТАЛАСЬ ИМЕННО ТАКАЯ УЧАСТЬ. ОДНО ИЗ НИХ («С НОВЫМ ГОДОМ! С НОВЫМ ГОРЕМ!..») ЗАПОМНИЛА И ПОЗЖЕ ЗАПИСАЛА ЛИДИЯ КОРНЕЕВНА ЧУКОВСКАЯ.

ИЗ ЦИКЛА «ЭПИГРАММЫ»

Здесь девушки прекраснейшие спорят
За честь достаться в жены палачам.
Здесь праведных пытают по ночам
И голодом неукротимых морят.

20-е гг.

* * *

Пива светлого наварено,
На столе дымится гусь...
Поминать царя да барина
Станет праздничная Русь —

Крепким словом, прибауткою
За беседою хмельной,
Тот — забористою шуткою,
Этот — пьяною слезой.

И несутся речи шумные
От гульбы да от вина:
Порешили люди умные:
— Наше дело — сторона.

1921. Рождество
Бежецк

* * *

В лесу голосуют деревья.
Н. З.

И вот, наперекор тому,
Что смерть глядит в глаза,—
Опять, по слову твоему,
Я голосую за:
То, чтобы дверью стала дверь,
Замок опять замком,
Чтоб сердцем стал угрюмый зверь
В груди... А дело в том,
Что суждено нам всем узнать,
Что значит третий год не спать,
Что значит утром узнавать
О тех, кто в ночь погиб.

1940

СТАНСЫ

Стрелецкая луна. Замоскворечье. Ночь.
Как крестный ход идут часы Страстной недели.
Мне снится страшный сон. Неужто в самом деле
Никто, никто, никто не может мне помочь?

«В Кремле не можно жить»,—
Преображенец прав,
Там зверства древнего еще кишат микробы:
Бориса дикий страх, всех Иоаннов злобы,
И Самозванца спесь — взамен народных прав.

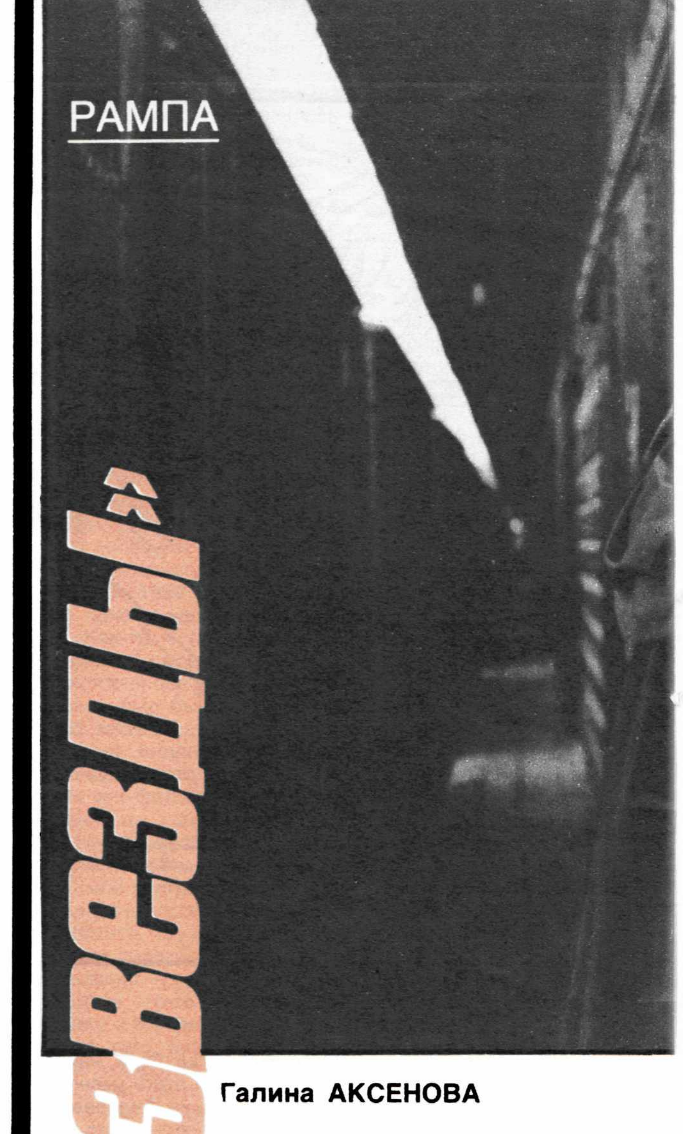
1940, апрель. Москва

* * *

С Новым годом! С новым горем!
Вот он пляшет, озорник,
Над Балтийским дымным морем,
Кривоног, горбат и дик.
И какой он жребий вынул
Тем, кого застенок минул?
Вышли в поле умирать.
Им светите, звезды неба!
Им уже земного хлеба,
Глаз любимых не видать.

1940, январь

Публикация М. КРАЛИНА,
научного сотрудника музея А. Ахматовой
(Фонтанный Дом)



РАМПА

Свет далекой «звезды»

Галина АКСЕНОВА

Один мальчик собирал марки. Ему повезло. Знакомая мамы работала на «Мосфильме» на картине «Летят журавли», и именно поэтому в его коллекции были марки всех стран мира. Писали отовсюду. Кому? Веронике, то есть Татьяне Самойловой. Самой известной советской актрисе пятидесятых годов.

Потом Татьяна Самойлова снималась мало. За тридцать лет в кино сыграла ролей десять, не больше. В театре почти не работала.

Когда спрашиваешь у тех, кто знает Татьяну Самойлову, какая она? — отвечают: добрая, аккуратная, на съемки никогда не опаздывала, от трудностей не отказывалась, терпеливая: во время «Неотправленного письма» у нее обгорели руки (сцена пожара), так она терпела до конца съемки, и резюмируют: очень хорошая и совсем «неактерская» дочка.

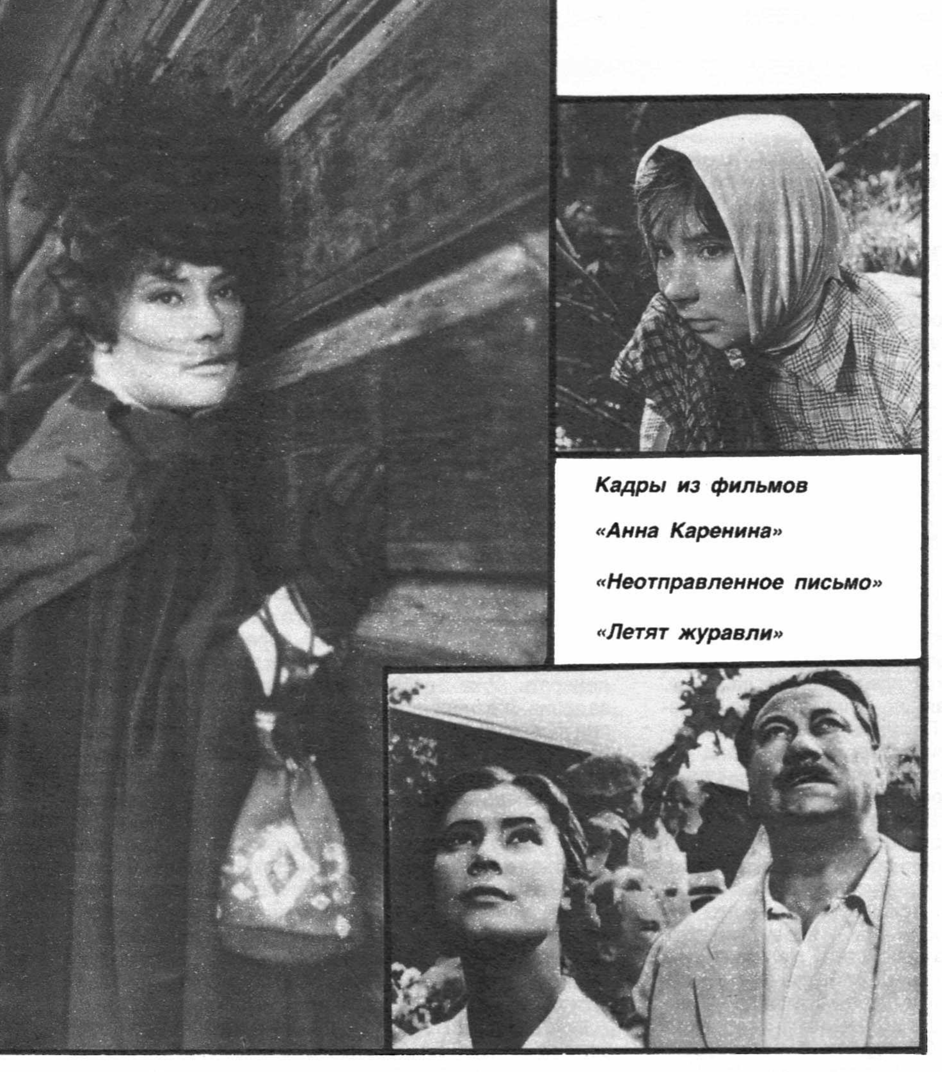
Татьяна Самойлова — дочь известного актера Евгения Самойлова. Его улыбка — визитная карточка экрана 30-х и 40-х годов.

— Мой папа очень хороший актер. Большой. Вечный. На все времена. Он в производстве всю жизнь. На своем 76-летии он сказал: «Я рад давать Родине хорошую продукцию». Он и сейчас играет. Я смотрю и удивляюсь, сколько у отца сил и энергии...

Родилась я в Ленинграде в 1934 году. Когда мне было два года, мы переехали в Москву. Папу пригласили. Он играл в театре, хотя много снимался. Он никогда не верил до конца кинематографу, всегда знал, что это временная работа.

До «Журавлей» Татьяна Самойлова снялась в фильме «Мексиканец». Мне кажется, сегодня мы вспоминаем эту картину только как дебют Самойловой — «звезды» 50-х годов.

«Летят журавли» — фильм о людях 1957 года. Сквозь суровые сороковые, ставшие сюжетной основой фильма, проступали новые времена, новые характеры. В жизнь входило новое поколение — дети войны.



Кадры из фильмов

«Анна Каренина»

«Неотправленное письмо»

«Летят журавли»

— Да, мы были детьми войны. Я помню Москву в огне в октябре 41-го. Меня пугали самолеты, которые летали над нашим домом. Мы жили на улице Щусева, напротив нынешнего Дома архитектора. На шестом этаже.

От войны остались у меня сильные воспоминания. Я никогда не забуду, как однажды папа и Марк Донской вышли на Садовое кольцо, я с ними. Мне было семь лет. Мимо нас шли крестьяне. Бросив свою землю, они гнали коров по направлению к Курскому или Казанскому вокзалам.

Нас эвакуировали в октябре. Москва оставалась пустой, разрушенной, и от этого было особенно тяжело. По дороге, на станциях, мы заходили в санчасть, просили лекарства. У меня была тяжелая ветрянка, а лечить ее было нечем.

А новый, 1944 год мы встречали уже в Москве. Еще было затемнение. Еще было мало людей, по-прежнему заклеены окна, и я по-прежнему болела. И так же не было лекарств. Папа и мама сдавали кровь, были донорами...

Авторы фильма «Летят журавли» М. Калатозов, С. Урусевский, В. Розов — люди военного поколения. Войну они знали как факт собственной биографии. Но надвигалась новая пора, и фильм оказался предвестником ее романтических интонаций. Патетическое название пьесы Виктора Розова «Вечно живые» сменилось лирическим «Летят журавли».

На роль Вероники пробовались Добронравова и Самойлова. Снимались две сцены: когда Вероника узнает, что Борис уходит на фронт, и когда ей сообщают о смерти Бориса. Калатозов хотел видеть движение образа: от беззаботной, эгоистичной девочки к страдающей женщине.

Таню вызвали на пробы из санатория, где она лечила больные легкие. Она сразу понравилась Калатозову...

1957 год. В СССР — оттепель. Весь мир смотрел на нас. В моде было все русское. Фильм «Летят журавли» получил в Канне (куда, кстати, режиссера не пустили) Большой приз — «Золотую пальмовую ветвь» за единство и высокое качество всех его художественных компонентов и гуманизм; первый приз высшей технической комиссии Франции — оператору Сергею Урусевскому; специальный диплом за исполнение роли героини — актрисе Татьяне Самойловой, премия «Апельсиновое дерево», которой награждается «самая скромная и очаровательная актриса фестиваля»,— Татьяне Самойловой, премия «Победа» французских кинозрителей — Татьяне Самойловой... И это было только начало.

Девочка с белочкой в руках стала символом России. А непосредственность поведения Татьяны Самойловой на светском рауте в Канне всех растрогала. Актриса отождествлялась с миллионами советских девушек.

Позади была удача. Встреча со своим режиссером. Уже со смехом вспоминали, как на съемках, в ответ на просьбу Калатозова чуть сжимать губы, Таня плакала и говорила: «Вы хотите, чтобы я была некрасивой?..»

А впереди была счастливая жизнь, любящий муж, слава, удача — словом, было будущее. Калатозов мечтал снимать с Самойловой «Анну Каренину», Зархи звал в фильм по «Звездному билету» В. Аксенова...

После «Летят журавли» сыпались приглашения сниматься.

— Я болела, не хотела ни с кем видеться. Но как-то раз меня позвали на беседу. Де Сантис делал совместный советско-итальянский фильм «Они шли на восток». Режиссер сказал: «Мы хотим, чтобы снимались вы, потому что вас знает Запад, и мы хотим еще раз показать ваше лицо...» Я согласилась. Мама говорит, что актер всегда должен быть в работе, в этом его сила и энергия.

Неудачи портили репутацию. И как после «Журавлей» Самойлова носила «клеймо» успеха, так после нескольких следующих экранных попыток заговорили о том, что она лишь «сделана» Калатозовым и Урусевским.

— Я жалею, что сразу после «Летят журавли» пошла сниматься в следующий фильм. Мне надо было вернуться в институт, который я забросила, сделать еще один спектакль, сыграть еще одну роль. Сейчас жалею, что так быстро ушла в кино.

Борис Захава, ректор нашего Щукинского училища, не разрешал студентам сниматься. И он был прав. Но человеку, если он еще и молод, все интересно, он может увлекаться. Он хочет жить. Кино дает такую возможность, быть может, иллюзорную. В кино очень много внешней жизни...

Калатозов умно ввел мои данные в кинематографическую ткань. Это была его победа, не моя. Но как актриса я чувствовала себя легко и свободно. Он обожал актеров. Он разрешал нам делать все, что угодно. Фантазировать. Смеяться. Валять дурака.

Калатозов, Урусевский — это были для меня люди, которые работали на каком-то другом, особом, непривычном для нашего кино уровне.

На фильме «Неотправленное письмо» съемочная группа испытала всю тяжесть бремени «общественного ожидания». Публика ждала шедевра. Перед просмотром в Доме кино были выбиты окна темпераментной толпой жаждущих попасть. После просмотра — тишина: режиссер, оператор, актеры не оправдали...

По сценарию и в студийном варианте картины все геологи погибали. У одного из них экипаж вертолета забирал карту местонахождения алмазов. В прокат фильм вышел с другим финалом. Все вроде так же. Только вдруг вновь начинает биться сердце героя, и он приоткрывает глаза. К тому времени «плохие» финалы на экран уже не допускались. Трагедии, существовавшие в жизни, считались некиногеничными. С этими переменами в общественном климате страны с экрана уходили многие темы, жанры, а значит, и актеры, которые могли реализовываться только через эти, ставшие немодными, исповеди.

Так давайте же признаем: Самойлова — символ поколения, отлученного от искусства.

...Ах, какое было время! Спектакли театра «Современник», стихи Ахмадулиной, Вознесенского, Евтушенко, вечера поэзии в Лужниках, сборники «Тарусские страницы», «День поэзии», песни Б. Окуджавы, рождение двух «Юностей», радиостанции и журнала... Эпоха лечила, отогревала души, измученные тридцатыми и сороковыми. Каждое «я» получало право на самораскрытие, каждое событие — на художественное осмысление. На экран вышли фильмы, исповедальная интонация которых стала приметой времени: «Дом, в котором я живу», а чуть позже «Я шагаю по Москве», «Мне двадцать лет».

Первой ласточкой нового времени и стала лента «Летят журавли». Да, актрисе пророчили большое будущее, но... артистической зрелости у Татьяны Самойловой не было. Как не было ее у многих других из поколения шестидесятников.

«Розовские» мальчики, крушащие саблей мещанский уют, тем не менее продолжали традицию «голубого героя». А Вероника от него отличалась. Она давала человеку право на ошибку и ее искупление. И такой героине уже не было места на советском экране конца 60-х — начала 70-х годов. Конфликты и метания личности, ее внутренние противоречия стали меньше выходить на экран.

Где же сейчас те актеры, создатели героев 60-х? Мне кажется, что выдержали, вернее, продолжали активно работать, сниматься по большей части те, в ком способность к перевоплощению доминировала. Идеал такого актера, естественно перешедшего из 60-х в 70-е годы,— Олег Табаков. С Самойловой так произойти не могло. Она не умеет **играть** в кино. Не может прикрываться профессией. Она умеет жить на экране, отдавая персонажу всю душу. И в этой ее уникальной искренности, доверчивости и естественности заключались и ее талант, и предопределенность дальнейшей судьбы. Самойлова беззащитна не только перед зрителем, но и перед операторской камерой, перед режиссером. Искренность, смонтированная в неестественном порядке и последовательности (как это обычно бывает в кино), быстрее окажется ложью, чем самая ложь...

Поколение Самойловой практически изгнано с экрана временем «застоя». Ее судьба — история внутренней, неосознанной, вынужденной эмиграции. Тип, который актриса была способна достойно выразить на экране, больше не востребовался.

— Извицкой уже давно нет, а это моя современница. Кати Савиновой нет, тоже моя современница. Какие же это были две колоссальные фигуры в кино! Какие два прекрасных лица! Век несправедлив. И время несправедливо...

Теперь мы снимаем фильмы с полок. Вынимаем рукописи из столов. Многое можно вернуть, кроме жизни, которая прошла не так, как хотелось бы, не так, как могла пройти. Вот потому и должно быть у нас чувство вины перед теми, кого нет, кто живет в другой стране, перед теми, кто только сейчас видит напечатанными свои книги, и в частности перед актрисой Татьяной Самойловой...

— Где-то писали, что у меня трагическая судьба, потому что я долго сижу без дела. Зачем же путать актерское амплуа и актерскую судьбу? Я актриса трагическая, с этим я согласна, но судьба у меня не трагическая. Судьба у меня нормальная, как у всех. У меня столько работы... В Театре киноактера я делала много интересного.

Но чуть позже:

— К сожалению, мне мало что удалось сделать. Я не снималась. Мне не предлагали. Я работала в Театре киноактера...

Еще позже:

— В Театре киноактера я практически на зарплате. Я не работаю после «Грозы»... У меня тяжелый ревмокардит. И горло очень больное. Но когда в прошлом году мне позвонили из режиссерского управления и предложили турне по Союзу с программой стихов Вознесенского, я им сказала: «Товарищи, я просто паду ниц, если вы дадите мне эту возможность».

Я пришла в своей театр и перед комиссией, которая оценивала мою работу, прочла «Монолог Мерилин Монро», а потом два стихотворения Вероники Тушновой. Я это читаю уже много лет. Нового мне ничего не дали.

Мы выступали в клубах офицеров в Уфе, Ташкенте, Ашхабаде, где зритель достаточно тяжелый, безразличный. Часто колоссальная аудитория, по 800 человек. Здесь трудно читать лирический монолог Мерилин. Я не только читаю, еще показываю отрывки из фильмов «Летят журавли», «Неотправленное письмо», «Альба Регия» и других. Недавно меня пригласили в Одессу. Согласна, говорю, я знаю много поэм...

И в конце разговора:

— А последнее время мне просто никто ничего не предлагает. Я дружила с одним режиссером, который руководит самодеятельным театром. Но у него в театре свои проблемы. Так что не до меня.

А у меня программа есть... по Светлову. Я ее читала, правда, в провинции. У нас такое перепроизводство актеров, что пробиться, к сожалению, невозможно. Сейчас такая безработица...

Меня расстраивают болезни. Сейчас, в 54 года, у меня такое количество всевозможных болезней...

Больное поколение. «Безвременье вливало водку в нас» (Высоцкий). Несвобода провоцировала болезни. Они требовали лекарств. Лекарства для души не было. Когда оно появилось, уже было поздно.

А мы, немые зрители финала, люди из публики, из зала, где проигрываются исторические драмы и трагедии, стали свидетелями распада. Мы сидим в зале, тычем пальцем в актеров и говорим: она спилась, он наркоман, этот конформист, тот мотанул за границу, этот продается за звания...

На лицах актеров отражается время. То, что мы не замечаем, смотрясь в зеркало, мы видим на их лицах. Наши кумиры — это мы сами. Их годы — годы, которые мы прожили вместе.

ЭКОНОМИКА И ГОСУДАРСТВО

Начало на стр. 8.

лы-финансисты, буржуазные «спецы», привлеченные к работе Советской властью. У них выучка и опыт были совсем иными. Это люди, воспитанные в основном на буржуазных экономических теориях и знавшие практику капиталистического хозяйствования. Так вот, они были не просто сторонниками планового регулирования экономики, но активно участвовали в практической работе по государственному регулированию и сбалансированию разработанного послереволюционного народного хозяйства, стабилизации советской денежной системы, а позднее и в составлении пятилетнего плана. Тогда о чем же шли споры? О целях и возможностях вмешательства государства в экономическую жизнь, о разумных и предельно допустимых границах государственного регулирования, о рациональном соотношении между внутренними закономерностями функционирования экономики и внешними целями, которые ставят перед ней политики. Как видим, мы пришли теперь к тем же вопросам. Они для нас остаются открытыми и актуальными в значительной мере потому, что современный уровень их практического решения нас удовлетворить никак не может.

Многообразие взглядов и оттенков в позициях различных экономистов по вышеназванным вопросам было впечатляющим. Это был естественный, а не вымученный плюрализм мнений, за которым стоит мощная интеллектуальная работа действительно самобытных мыслителей. Однако постепенно произошла кристаллизация позиций, выделилось два центра тяготения. Одни ученые и специалисты при полном сохранении индивидуальных особенностей своей позиции соглашались с тем, что плановая деятельность государства должна заключаться в создании максимально благоприятных условий для раскрытия внутренних закономерностей и возможностей экономики. Прежде чем ставить перед народным хозяйством какие-либо цели, рассуждали они, надо его поднять на ноги, создать нормальные условия жизнедеятельности, дать раскрыться внутренним потенциям и в дальнейшем поощрять экономическими льготами и рычагами прогрессивные с общественной точки зрения явления и процессы хозяйственной жизни и соответственно ограничивать развитие экономического организма в нежелательных направлениях, наносящих (или могущих нанести в перспективе) ущерб другим сферам человеческой деятельности или среды обитания.

Спорили люди интеллигентные, а главное — профессионально грамотные. Это был спор, в котором обязательно должна была родиться истина. И она родилась и была четко зафиксирована в решениях XIV и XV съездов партии.

Приведу в качестве примера лишь одну выдержку из резолюции XV съезда по составлению пятилетнего плана народного хозяйства: «В области соотношений между **производством и потреблением** необходимо иметь в виду, что нельзя исходить из **одновременно** максимальной цифры того и другого (как этого требует оппозиция теперь), ибо это неразрешимая задача... Необходимо исходить из оптимального сочетания обоих этих моментов.

То же самое необходимо сказать относительно города и деревни, социалистической индустрии и крестьянского хозяйства. Неправильно исходить из требования максимальной перекачки средств из сферы крестьянского хозяйства в сферу индустрии, ибо это требование означает не только политический разрыв с крестьянством, но и подрыв сырьевой базы самой индустрии, подрыв ее внутреннего рынка, подрыв экспорта и нарушение равновесия всей народнохозяйственной системы». Дальше говорилось еще очень много правильных вещей. Например, что нельзя выжимать сверхвысокие темпы роста тяжелой промышленности, поскольку это приведет к их падению в длительной перспективе из-за неминуемо создаваемых такой политикой диспропорций, что нельзя забывать о легкой промышленности, которая, учитывая быстрый оборот ее капиталов, может служить при условии ее быстрого развития устойчивым источником средств для индустриализации. «Только учет всех вышеозначенных фактов и плановая увязка их,— говорилось в резолюции съезда,— позволяют вести хозяйство по пути более или менее планового, более или менее бескризисного развития».

Все это принималось съездом 19 декабря 1927 года. Но руководством к жизни не стало. Изложенное съездом понимание целей и задач планирования народного хозяйства, роли государства в изменении хозяйственных пропорций и поддержании динамической сбалансированности было отброшено Сталиным с цинизмом, поражающим воображение даже по прошествии шестидесяти с лишним лет. Первая массированная атака на логику и законы экономики была предпринята Сталиным во время его поездки по Сибири уже в январе 1928 года, то есть через месяц после съезда. А поводом послужило возникновение весьма прагматической проблемы, выглядевшей поначалу хотя и важной, болезненной, но все-таки на общем фоне социально-экономической жизни относительно частной или, во всяком случае, безусловно временной. Речь идет о трудностях в хлебозаготовках, возникших зимой 1928 года. Так, если к январю 1927 года государство закупило у крестьян 428 миллионов пудов зерна, то к январю 1928-го — на 128 миллионов пудов меньше. Что делать? Задачка не из простых. В связи с этим очень любопытно проследить ход мысли и действий при решении такого рода вопросов у руководителей «сталинского типа» на примере эталонного образца, то есть самого Сталина.

Итак, зажиточный крестьянин придерживает хлеб, не хочет нести его на рынок. Почему? Первая причина, так сказать, чисто поверхностная — ждет весны, по весне цены на зерно, как известно, всегда выше. Вторая — более серьезная, а, точнее говоря, главная: товарный дефицит. Промышленность в совершенно недостаточном количестве поставляет на деревенский рынок текстиль, обувь, керосин, строительные материалы, удобрения, маслобойки, сепараторы и т. п. Что-то в связи с этим исчезает совсем с прилавков сельских лавок, что-то дорожает. Ответ крестьянства естествен, полностью в рамках **законов** страны; это экономический ответ на экономическую проблему. Нарушение товарооборота — это сигнал обострения диспропорции между развитием промышленности и сельского хозяйства. Наличие этой диспропорции, между прочим, отметил XV съезд ВКП(б) и призвал в плановом порядке экономическими методами ее сгладить, а в дальнейшем и ликвидировать. Высокий урожай 1927 года требовал особого внимания к оживлению легкой промышленности. Под хлеб надо было дать продукт города. Это требовалось и для поддержания курса червонца. Короче говоря, просматривалась возможность гибкими экономическими мерами наладить товарооборот, тем более, что держатель хлеба — зажиточный крестьянин — не представлял собой какой-то организованной крестьянской монополии, а был в виде тысяч и тысяч крестьянских дворов разбросан по всей стране. В этой ситуации даже при том же объеме рыночных фондов могла дать эффект дифференцированная региональная политика государства по завозу товарных ресурсов в хлебосеющие области страны. Надо думать, считать.

Но ход мыслей генсека направлен совершенно в другую сторону. Если не хотят продавать, надо **обязать** продавать (не правда ли, дикое сочетание слов), а если не согласны продавать — отобрать, конфисковать. Правило грабителя: действуй быстро, пока жертва не опомнилась. Мгновенно вводится целый «букет» репрессивных мер: конфискация хлебных излишков без всякого судебного разбирательства, запрещение сначала внутридеревенского рынка, а затем и вообще «вольного» хлебного рынка, обыски в целях выявления излишков, заградительные отряды, принудительное распределение крестьянского займа при расчетах за хлеб, введение прямого продуктообмена. Весь этот перечень взят мною из решений апрельского Пленума партии 1928 года. Пленум считает, что эти меры «подлежат самой категорической отмене» и «фактически являются сползанием на рельсы продразверстки».

Таким образом, столь масштабные акции Сталина были не только не согласованы с партией и правительством, но и встретили резкое осуждение ЦК. Но осуждение задним числом. Дело сделано. И оно нравится Сталину. Он через два дня после Пленума докладывает об «успехах» заготовительной кампании после принятия чрезвычайных мер московским коммунистам: «Известно, что за три месяца, за январь — март, мы сумели заготовить более чем 270 миллионов пудов хлеба». Помните: при дефиците в 128 миллионов. Превзошли требуемое в два с лишним раза. Лихо! Воистину аппетит приходит во время еды. И как тут не уверовать в эффективность чрезвычайных мер по сравнению с мерами экономическими.

Но логика экономической жизни состоит в том, что налоги небольшие либо умеренные можно собирать сколь угодно долго, а ограбить по-крупному — только один раз. И ответ крестьянина последовал незамедлительно. Хотя и на этом витке событий на беззаконие властей он ответил в рамках закона (видно, очень уважал «правовое государство» и был в нем заинтересован). Ответ заключался в сокращении посевных площадей, распродаже имущества («самораскулачивание»), бегстве в город. Хлебозаготовки вновь затруднились. В 1929 году, несмотря на все усиливающийся нажим, отобрали хлеба меньше, чем в 1928-м. Пришлось вводить карточки, и это в крестьянской стране на фоне нескольких подряд урожайных лет. Чрезвычайные меры подорвали экономику сельского хозяйства, подрыв ее отразился на жизненном уровне, вызвал широкое недовольство населения. Оставалось одно из двух, либо склонить голову перед неумолимостью экономических законов, либо перейти к террору. После недолгих колебаний Сталин и его ближайшее окружение выбрали второй путь. Вместо союза рабочего класса и крестьянства была осуществлена операция по ликвидации крестьянства путем физических репрессий по отношению к одним и превращения остальных в сельских рабочих, но не наемных, а внеэкономическими методами прикрепленных к земле. Такой тип новых земледельцев получил название «колхозники».

Чрезвычайщина как метод управления в глазах Сталина одержала полную и безоговорочную победу.

Главное — поставить цель и проявить волю. В этом состоит альфа и омега управления, вот уже где сказываются преимущества социалистического государства, централизованного планирования. И эти «методы» быстро начинают переноситься во все сферы народного хозяйства, прежде всего в промышленность. Уже одобренные XVI партийным съездом задания пятилетнего плана начинают срочно пересматриваться. Даешь темпы роста 20, 30, 45 процентов! Даешь пятилетку в четыре года! И в этом опьянении всесилием власти потонули трезвые голоса. Кому теперь интересны вещие слова Н. И. Бухарина, который еще в 1928 году в своих «Заметках экономиста» предупреждал: «Можно бить себя в грудь, клясться и божиться индустриализацией, проклинать всех врагов и супостатов, но от этого дело ни капельки не улучшится. Можно надеяться на правило: «авось проскочим!», можно играть в чет-и-нечет, «загадывать» и т. д., но, увы, объективные соотношения выползут все равно на свет божий.., ибо из «будущих кирпичей» нельзя строить «настоящие» фабрики...»

В 1931 году это предупреждение не принималось во внимание. Тем больнее оно отзывается в 1989 году в наших сердцах и, извините за прозу жизни, в наших желудках.

Но канул в Лету Сталин с его жестокостями, статистической эквилибристикой и политической демагогией. А что делать нам с его пониманием экономической роли государства? Освободились ли мы от насаждавшегося десятилетиями антиэкономического способа мышления? В чем проявляется реально «повышение научной обоснованности наших планов», если диспропорции продолжают лезть из всех углов и щелей? А ведь, по Ленину, планомерность — это постоянно и сознательно поддерживаемая пропорциональность.

Сейчас мы возлагаем большие надежды на экономический механизм. Что это такое? На мой взгляд, это создание такого хозяйственного климата, где экономические законы проявляют себя в естественной, раскрепощенной форме. Выгодное принимается, убыточное отвергается. Кто больше и лучше работает, тот больше потребляет. Право выбора хозяйственных партнеров, структуры производства и потребления регламентируется экономической эффективностью и доходами. Если такой климат будет создан (а ведь мы как будто хотим этого), то зачем директивные плановые предписания — делай то, сей тогда-то, вези туда? Ведь если, скажем, новая техника эффективна, то зачем планы по ее освоению и внедрению? План, рассматриваемый как простая дублирующая система экономического интереса,— это не очень, прямо скажем, естественно, да и слишком накладно для общества. Тогда, может быть, плановые задания должны вступать в свои права в тех случаях, где нужно, исходя из «высшей целесообразности», наступить на горло экономическому интересу и вести дело вопреки ему? Мысль интересная. Но, как мы только что убедились, не новая. «Чрезвычайщиной» отдает. Где здесь граница между «разумным ограничением» и вседозволенностью?

Итак, мы возвращаемся к тому, что нет ничего более актуального на сегодняшнем этапе перестройки системы управления экономикой, как найти в ней место для централизованного планирования. И это не парадокс. Мы официально объявили борьбу административной системе. Но она пуповиной срослась с централизованным планированием и распределением в их сталинской трактовке. А есть ли на сегодняшний день иная?

ЗАКОН ИЛИ ИНСТРУКЦИЯ?

Второй год действует Закон о государственном предприятии. Теперь уже все объединения и предприятия работают в рамках этого закона. Есть и Закон о кооперации. Но вот какие законы регламентируют деятельность министров, Госплана, Госкомцен, Минфина? Похоже, там продолжают царить ведомственные инструкции и правительственные рас-

поряжения. Нам говорят, мол, не волнуйтесь, государственный закон всегда выше ведомственной инструкции. Огромное число инструкций, противоречащих закону, уже отменено или видоизменено. И все же... Во-первых, закон о предприятии составлен во многих местах довольно в общих выражениях, и ведомства в своих инструкциях дают этим местам более определенное, однозначное толкование. Аналогичным правом предприятия не располагают. Во-вторых, в законе по необъяснимым причинам отсутствует четкое юридическое описание процедур разбора конфликтных ситуаций. В-третьих, хотелось бы более четкого юридического оформления прав и обязанностей вышестоящих органов и экономических ведомств. Что можно с них потребовать в законном порядке и где кончается их экономическая власть?

Отсутствие четкого юридического оформления функций высших плановых органов может свести на нет все усилия по перестройке хозяйственного механизма. Например, Госплан фактически совмещает функции разработчика и исполнителя народнохозяйственных планов. То обстоятельство, что пятилетние и годовые планы рассматриваются и утверждаются на сессиях Верховного Совета СССР, практически мало что меняет, поскольку и после обретения планом статуса закона фактическим держателем ресурсов остается Госплан. Без его санкции министерства и ведомства не могут реализовать свое право воспользоваться ресурсами, закрепленными за ними в плане. Более того, Госплан может без ведома Верховного Совета вносить оперативные поправки и уточнения в уже утвержденный план. К слову сказать, эти «уточнения» нередко измеряются сотнями миллионов, а то и миллиардами рублей. Наконец, у Госплана есть широкие возможности внутрисекторного и внутриотраслевого перераспределения выделенных капиталовложений, так как пятилетний план утверждается в агрегированном виде без детальной разбивки. Поэтому-то министры и директора крупных объединений «ходят под Госпланом» не только в период разработки пятилеток, а постоянно. Обширное бюро пропусков Госплана напоминает переполненный кассовый зал вокзалов южного направления, с той разницей, что эта людская толчея наблюдается не только в летнее время года, а круглогодично.

Возьмем другой животрепещущий «экономико-юридический» вопрос: кто должен утверждать налоговые ставки и платежи в бюджет от доходов предприятий, кооперативов, населения? В подавляющем большинстве стран это функция высших государственных органов. У нас этим занимаются Минфин, Госплан и даже отраслевые министерства, зачастую утверждающие так называемые нормативы распределения прибыли подведомственных им предприятий. Такая правовая неразбериха в столь важном вопросе уже привела к известному эксцессу в связи с налогообложением кооператоров. Наконец, кому должен подчиняться Госбанк СССР — правительству или Верховному Совету? И таких вопросов набирается уйма. То, что было безразлично в тоталитарном государстве, становится актуальным в правовом.

Движение к созданию правового государства немыслимо без создания четкого, лаконичного хозяйственного законодательства. Никто из участников экономической жизни не может находиться вне зоны единых правовых норм. Это необходимое условие реализации новой концепции планирования. А каковы же принципиальные черты такой концепции?

В основе новой концепции планирования должно лежать ясное понимание того, что эффективность управления зависит от рационального разделения управленческих функций. Именно не многократное дублирование этих функций, порождающее в конце концов безответственность, иждивенчество, отчужденность от результатов управленческих решений, а четкое разделение. Передача любых функций управления вышестоящему звену, то есть переход от самоуправления к управлению «сверху», должна строго лимитироваться правилом **минимальной достаточности.** Поясню суть этого правила. Центр концентрирует у себя те и только те управленческие функции, которые ни при каких условиях не могут выполнять нижестоящие звенья хозяйственной системы в силу их ограниченной компетентности. Скажем, вопросы обороноспособности страны или демографической политики не могут решаться на уровне обувной фабрики. Но, с другой стороны, вопросы выбора ассортимента выпускаемой продукции, закупок сырья, расширения или модернизации производства должны решаться коллективом и администрацией фабрики самостоятельно (конечно, при условии выхода фабрики на потребителя). Казалось бы, прозрачное, немудреное правило. Однако как мы умеем забывать именно азы! История возникновения и развития государства знает, что цари, короли, завоеватели, узурпаторы облагали своих подданных налогами, а покоренные народы — данью, контрибуцией и т. п. Налоги могли быть божескими и тяжелыми. Народы кряхтели под их бременем, иногда восставали, но ни одному правителю не приходило в голову диктовать своим подданным, когда пахать, когда сеять, когда урожай собирать. Тем более никакое государство не обещало народу накормить его — само помаленьку от народа кормилось. И только Сталин впервые в истории человечества провозгласил, что Советское государство знает лучше производителей, что и как производить, и лучше потребителей, сколько и чего потреблять. Но сегодня нас печалит и удивляет не самомнение или алогичность вождя, а то, что в размерности этой схемы мы живем по сей день. Государство наше, как и полвека назад, действительно продолжает нести ответственность за пустые прилавки магазинов, за нехватку любой мелочи, за уровень цен и доходов. Почему? Да потому, что стянуло на себя решение всех вопросов. Вот народ теперь и ждет ответов.

Короче говоря, что касается экономической сферы, то государство занято по сей день совершенно не своим делом. А какие же у центральной власти реальные дела в сфере управления экономикой? Очень важные, очень ответственные и, как вы сейчас убедитесь, очень запущенные. Первая и главная проблема, которую никто, кроме государства, взять на себя не может,— это стратегическое прогнозирование развития науки и техники, оценка возможных социально-экономических последствий научно-технического прогресса с общенациональных позиций и долгосрочное планирование развития народного хозяйства. В этой сфере роль государства признается почти всеми. Тем не менее практически эта работа ведется, мягко говоря, неудовлетворительно. Постоянные ошибки в выборе приоритетов (о чем уже говорилось выше) объясняются отсутствием надежных аналитических инструментов и моделей, а главное — постоянными сбоями на текущие проблемы. Примат текущего над перспективным в планировании создает ловушку для мышления. Перспективная структура экономики невольно конструируется как текущая, но с залатанными дырами и расшитыми узкими местами. Ничему принципиально новому в такой схеме просто не находится места. Смягчить существующие дефициты — вот предел мечтаний «стратегических разработчиков».

Вторая проблема, решение которой объективно ложится в основном на плечи государства,— проблема создания производственной и социальной инфраструктуры. Транспорт, связь, сеть культурных учреждений, материальная база здравоохранения и образования должны развиваться на основе единой концепции.

Третий блок государственных забот — различного рода социальные гарантии, особенно для тех групп населения, которые по тем или иным причинам не могут в полной мере заниматься общественно полезной деятельностью или их деятельность не приносит доходов, достаточных для достойного существования. И здесь нерешенных проблем непочатый край. В стране, где к власти пришли трудящиеся, почему-то считалось неприличным рассчитывать показатель прожиточного минимума. Может быть, из-за того, что каждый человек считался хозяином всей страны и, следовательно, априори богачом? К этому надо добавить, что давно устарели и пенсионная система и формы финансирования, содержания и развития сети детских домов, домов для престарелых и инвалидов, помощи многодетным семьям. Видно, отвлекают другие дела, не всегда и быстро доходят «государственные руки» до старых, больных и бедных. Сейчас все больше в моде общественные организации, добровольные пожертвования, народная благотворительность из того самого фонда заработной платы, который у нас и так составляет всего лишь 36,6 процента национального дохода, созданного в промышленности (против 64 процентов в США).

И, наконец четвертая задача, которую опять же обязано решать государство,— это поддержание в нормальном состоянии денежно-финансовой системы. Денежное хозяйство всегда было в ведении государства. Оно чеканило монету, печатало банкноты. В этой области всегда и совершенно справедливо соблюдалась монополия государства, пожалуй, единственная разновидность экономической монополии, которая ни у кого не вызывала и не вызывает протеста. И в этой сфере своей деятельности наше государство, как мы теперь знаем, не преуспело. Опять оно не справилось со своими прямыми обязанностями, потому что взвалило на себя множество дел, с которыми вполне могут справляться и другие, причем сделают это значительно лучше. «Если же говорить в практическом плане,— отмечал по этому поводу М. С. Горбачев на встрече с деятелями науки и культуры,— то самой неотложной и острой задачей центра является обеспечение сбалансированности рынка и упорядочение финансовых отношений». Вот это правильное понимание роли центра на современном этапе перестройки экономических отношений. Центр должен создавать нормальные условия для свободной хозяйственной деятельности хозрасчетных предприятий, а не вмешиваться повседневно в их работу.

В этой связи следует обратить внимание читателя на один любопытный момент. На последней сессии Верховного Совета СССР депутатам было доложено, что в 1989 году пресс централизованного давления на предприятия и объединения будет резко ослаблен. В чем это выразится? Во-первых, в резком снижении доли госзаказа. В машиностроении госзаказ будет составлять 25 процентов против 86 в 1988 году, в металлургии — 42 против тоже 86, по Министерству легкой промышленности только 30 против 96 в 1988 году и т.д. Во-вторых, количество централизованно распределяемых ресурсов сократится с 5100 наименований до 546, то есть более чем в 9 раз. И, в-третьих, капитальные вложения за счет средств предприятий составят теперь 47 процентов от всех вложений в промышленность, в то время как раньше они едва превышали 38. Цифры впечатляющие. Они должны свидетельствовать о резком расширении самостоятельности предприятий.

Должны-то должны, но я беру на себя смелость утверждать, что эти шаги приведут не к расширению экономической самостоятельности предприятий, а к их еще большему закабалению, к обострению диспропорций в народном хозяйстве. И все это произойдет потому, что, ослабляя административные методы и рычаги управления, «забыли» о создании рынка. Сокращается до 25 процентов доля госзаказа в машиностроении. Очень хорошо! Но повременим с аплодисментами. Означает ли это, что остальные 75 процентов оборудования можно будет **свободно** купить на оптовом рынке средств производства, пусть даже по свободным ценам? В том-то и дело, что нет. Не предусмотрено обеспечение сбалансированности спроса и предложения ни по «внезаказным» машинам, ни по металлу, ни по текстилю.

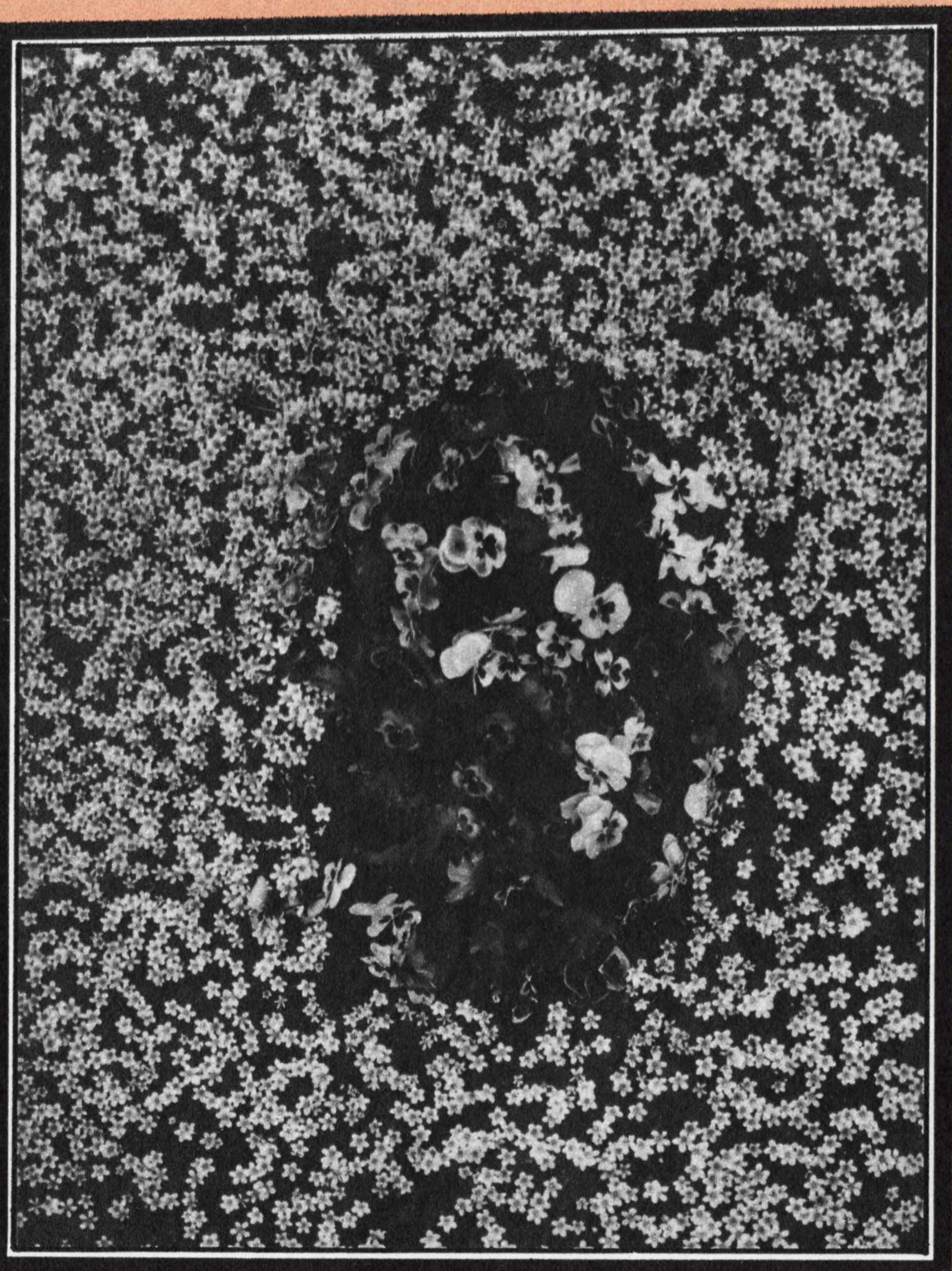
То, что сейчас называется оптовой торговлей средствами производства, на самом деле лишь иные формы карточного распределения, где значительно усиливается роль среднего звена управления. Торговля без рынка — это абсурд. В действительности же диктат производителя не исчезнет, а будет реализовываться на более низком уровне, в «ближнем бою» с потребителем. В этой рукопашной сила производителя, основанная не на качестве его продукции, а исключительно на отсутствии сбалансированного рынка, дефиците и монополии, может проявляться в экзотических формах и приобретать особую жестокость.

Сейчас в ходе реорганизации системы управления экономикой возник критический момент. Центр освобождает себя от перегрузки. И это правильно. Но передача части управленческих функций идет не напрямую объединениям и предприятиям, а оседает в министерском звене. Это объективно его усиливает (сколько бы ни проводить укрупнений, разукрупнений, сокращений штатов), делает это звено нужным, даже жизненно важным. А ведь именно отраслевые министерства составляют стержень сталинского государственного управления экономикой. Они внутренне приспособлены для проведения «чрезвычайных» мер, ломающих экономическую логику развития. Эволюция министерской системы управления произошла лишь в том отношении, что если раньше наркоматы были послушными орудиями центра в проведении заданного центром курса, то нынешние отраслевые министерства имеют свой ведомственный интерес, последовательно его отстаивают, оказывают мощное давление на центр при формировании инвестиционной политики, активно сопротивляются созданию социалистического рынка. Последнее очень важно для понимания остроты кризисной ситуации: организованный социалистический рынок — антипод власти министерств. В основе этой власти лежит дефицит и карточное, фондовое распределение ресурсов и готовой продукции. Если директор предприятия может свободно осуществить закупки необходимого ему сырья, оборудования и т.д. (пусть иной раз и втридорога), то министерство ему не нужно. И министерства это отлично понимают. Они сделают все, чтобы провалить курс на формирование в нашей стране сбалансированного рынка. Сами же создав дисбалансы, они ими и оправдывают право на свое существование.

Какой же выход из этой ситуации? Ликвидировать отраслевые министерства — путь наиболее радикальный, но не созидательный, а разрушительный. Может быть, продумать вариант не уничтожения, а перепрофилирования? Здесь возможны два пути: либо министерства превращаются в крупные посреднические фирмы по изучению спроса, конъюнктуры рынка, динамики технического прогресса в отраслях и на хозрасчетной основе оказывают соответствующие услуги предприятиям, либо они занимаются стратегическими вопросами развития отрасли на отдаленную перспективу, и тогда больше тяготеют к Госплану, становятся как бы его отраслевыми филиалами. Наверное, возможны и другие варианты решения этой проблемы. Однако прежде всего в современном правовом государстве следует избавиться от функции министерств как вышестоящих органов по отношению к предприятиям. Равноправное экономическое партнерство должно стать основой демократизации хозяйственной жизни.



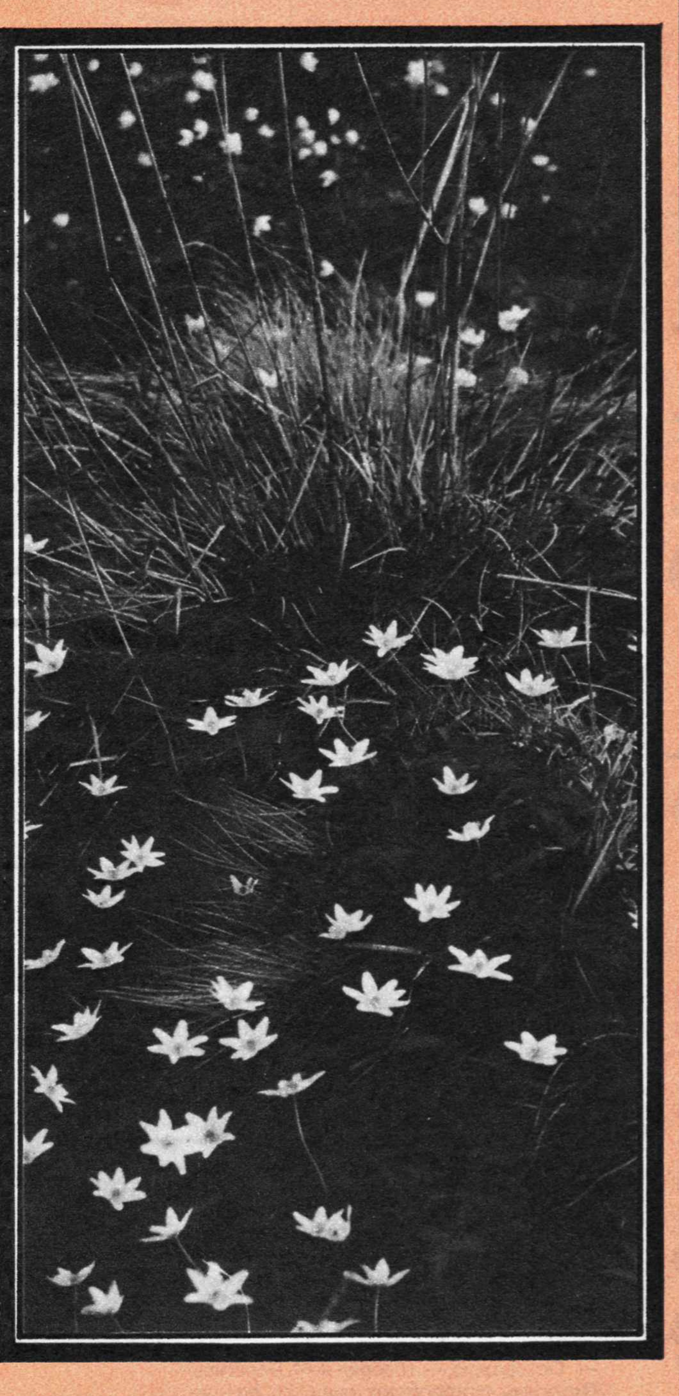
ЛИНИЯ ФОТОГРАФА РИМАНТАСА



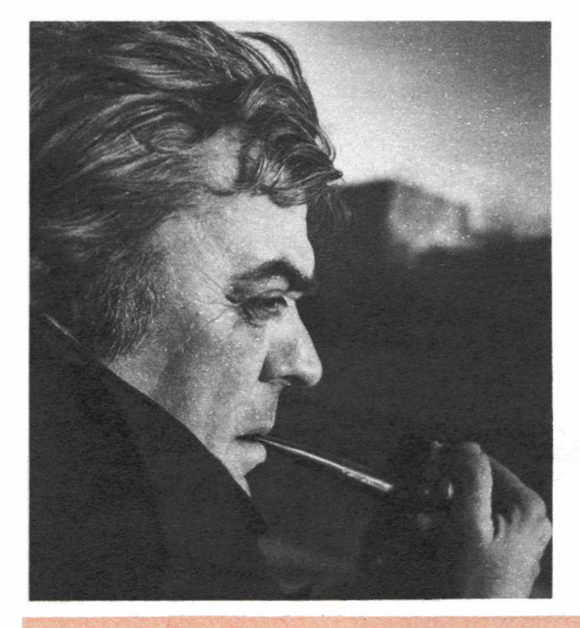
...Красота — это чудо.
Нет. Красота — это совершенство...
Тоже нет. Красота — это истина.
Вот точно: красота — это любовь!
А впрочем, что же такое красота?

Художник задает вопрос своей книгой. И этой же книгой утверждает свое понимание красоты. Застывшие на фотографии волны дюн. И бесконечно изменчивые волны линий человеческого тела. Этот вихрь, этот космос красоты...

Фотограф и художник соединились вместе, поселившись в одном человеке. Художник повел фотографа по зыбкой линии красоты. Душа художника победила механический глаз фотоаппарата. И линия не прервалась...



Фотографии взяты из книги литовского мастера Римантаса Дихавичюса «Цветы среди цветов», выпущенной вильнюсским издательством «Минтис», прекрасно отпечатанной экспериментальной типографией ВНИИ полиграфии в Москве мизерным тиражом в 10 тысяч экземпляров, сделавщим издание сразу же по выходе уникальным.



ЮРИЙ КОВАЛЬ ХОРОШО ИЗВЕСТЕН КАК ДЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ. ЕГО КНИГА «НЕДОПЕСОК НАПОЛЕОН III» ОДНА ИЗ ЗАМЕТНЫХ В НАШЕЙ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ. НО И «ВЗРОСЛАЯ» ПРОЗА ЮРИЯ КОВАЛЯ ЗАСЛУЖИВАЕТ ЧИТАТЕЛЬСКОГО ВНИМАНИЯ. ЕГО РАССКАЗЫ ЛАКОНИЧНЫ, ОСТРАНЕНЫ, ТЯГОТЕЮТ К ПРИТЧЕ. В ТО ЖЕ ВРЕМЯ В НИХ ВСЕГДА ЕСТЬ НАСТРОЕНИЕ. КАК НИ ГРУСТНО, НЕ ТОЛЬКО В СОВРЕМЕННОЙ ПРОЗЕ, НО И В СТИХАХ ЭТО ДОВОЛЬНО РЕДКОЕ ДОСТОИНСТВО. А ЕЩЕ ПРОЗУ КОВАЛЯ ОТЛИЧАЕТ ПО-ДЕТСКИ ЯСНЫЙ ВЗГЛЯД НА МИР И ТО ИГРОВОЕ НАЧАЛО, КОТОРОЕ НЕОБХОДИМО КАК ДЕТЯМ, ТАК И ВЗРОСЛЫМ. ВСЕ СКАЗАННОЕ В ПОЛНОЙ МЕРЕ ОТНОСИТСЯ К РАССКАЗАМ, КОТОРЫЕ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ.



ЧАЙНИК

Меня не любит чайник.

Тусклыми латунными глазами целый день следит он за мною из своего угла.

По утрам, когда я ставлю его на плитку, он начинает привывать, закипает и разъяряется, плюется от счастья паром и кипятком. Он приплясывает и грохочет, но тут я выключаю плитку, завариваю чай, и веселье кончается.

Приходит Петрович. Прислоняется к шкафу плечом.

— Неплатеж,— говорит Петрович.

Это неприятное слово повисает в воздухе между чайником, мною и Петровичем.

Мне непонятна реакция чайника. Нравится ему это слово или нет? На чьей он стороне? Со мною он или с Петровичем?

— Длительный неплатеж,— говорит Петрович.

Холодным взглядом чайник окидывает меня и отстраняется. Если он не с Петровичем, то и не со мной. Висящее слово его не беспокоит. Ему наплевать на мои затруднения. Он и без меня проживет.

— Когда заплатишь? — спрашивает Петрович.

— Понимаешь,— объясняю я,— меня не любит чайник.

— Кто? Это который вчера приходил? Чего это вы орали?

— Чайник, Петрович. Который вот он здесь стоит. Вот этот, латунный.

— А я думаю, чего они орут? Наверно, деньги завелись. Дай, думаю, зайду. Пора за квартиру платить.

— У меня с ним странные, очень напряженные отношения,— жалуюсь я.— Он постоянно следит за мной, требует, чтобы я его беспрерывно кипятил. А я не могу, пойми! Есть же и другие дела.

— И колбаса осталась,— удивляется Петрович, глядя на стол, не убранный с вечера.— До двух часов орали! Я уж думаю, как бы друг друга не зарезали.

Я включаю плитку, и чайник сразу начинает гнусавить.

— Вот слышишь? Слышишь? Погоди, еще не то будет,— говорю я.

Петрович меня не слышит. Он слушает свой внутренний голос. А внутренний его голос говорит:

«Чего слушать? Надоело! Плати или съезжай!»

Чайник отчего-то замолкает, бросает гнусавить и, тупо набычившись, прислушивается к нашему разговору.

У Петровича я снимаю угол, в котором несколько углов: угол, где я, угол, где краски, угол, где чайник, угол, где шкаф, а сейчас и Петрович со своим внутренним голосом, который легко становится внешним:

— На колбасу деньги есть! Колбаска, хлеб, культурное обслуживание, орут до четырех утра! А нам преподносится неукоснительный неплатеж!

Почему молчит чайник? Делает вид, что даже и не слыхивал о кипении.

— Молчит,— поясняю я Петровичу.— Нарочно молчит, затаился. И долго еще будет молчать, такой уж характер.

— А то сделаем, как прошлый раз,— намекает Петрович.

Ну и выдержка у моего чайника! Плитка электрическая раскалилась, а он нарочно не кипит, сжимает зубы, терпит и слушает. Ни струечки пара не вырывается из его носа, ни шепота, ни бульканья не доносится из-под крышки.

А в прошлый-то раз было сделано очень плохо. За длительный трехмесячный неплатеж Петрович вынес мои холсты и рисунки во двор, построил из них шалашик и поджег. Холсты, говорят, разгорались плохо, и особенно не разгорался натюрморт с чайником. Такую уж залепил я на нем фактуру с песком и толченым кирпичом. И Петрович отбросил его, чтоб не мешал гореть бумаге. Опаленный и осыпанный пеплом, метался я по городу и не знал, что делать. Выход был один — Петровича убить.

— Слушай, что с твоим чайником? Чего он не кипит? — говорит Петрович.

Нервы у чайника натянуты до предела, он цедит сквозь носик тонкий, как укус осы, звук.

Я отодвигаюсь подальше. Знаю, что с моим чайником лучше не связываться, он беспредельник. Может выкинуть любую штуку.

— Или плитка перегорела? — говорит Петрович и подходит к чайнику.

— Осторожно,— говорю я.— Берегись!

Петрович отдергивает руку, но поздно.

Крышка срывается с чайника. Раскаленные ошметки пара, осколки кипятку летят в Петровича. Он ослепленно воет и вываливается на кухню, сует голову под кран.

Чайник веселится, плюется паром во все стороны, приплясывает, подпрыгивает и победно грохочет.

Надо бы, конечно, выключить плитку, посидеть и подумать, как же мне жить дальше. Как жить дальше — неизвестно, а чайник, ладно, пускай пока покипит.



Рисунки Левона ХАЧАТРЯНА

НОЖЕВИК

В бестолковых моих скитаниях по вечно-вечерним сентябрьским полям встречались мне и люди с ножами.

Этот, подошедший в сумерках к моему костру, ножа при себе не имел.

— Картошечки пекете? — спросил он, подсаживаясь в сторонке от огня.

— И уху варим,— добавил я во множественном числе, хотя и был один, без товарища, на двести верст кругом.

— Я и говорю: рыбоуды. Такой дым у костра — рыбоудский. Я, как издали увидел, так и говорю: рыбоуды... А где же товарищ ваш?

Отвечать правду отчего-то мне не захотелось.

— Товарищ-то?.. А там товарищ,— кивнул я в сторону реки.

С реки и вправду доносились какие-то звуки: голоса женщин или крики чаек? Вполне было возможно, что там, в этих голосах, находил место и мой какой-то товарищ.

— А что он, товарищ-то ваш, рыбку удит?

— Да нет,— ответил я, прикидывая, какой там, в дальних звуках, мог быть у меня товарищ, и пытаясь его себе представить.— Товарищ-то мой, он... нож ищет.

— Нож?! Потерял, что ли?

Не знаю, откуда я взял этого «товарища» и почему сказал, что он ищет нож. Это был бред, внезапно возникший в голове. Надо было отвечать и проще всего сказать, что «товарищ мой» нож потерял. Однако отчего-то мне не захотелось, чтоб «товарищ мой» терял свой нож.

— Да нет, не терял он нож,— сказал я, отмахиваясь от дыма, вылавливая ложкой картофелину из котелка.— Он с этим ножом...

Тут я замолчал, потому что не знал, что он делает, «товарищ-то мой», с этим ножом. Сидит, что ли, на берегу и точит о камень?

— ...вообще носится, как с писаной торбой,— закончил я не понятную никому ворчливую фразу. Я как бы серчал на своего «товарища», который надоел мне со своими глупостями и особенно с ножом.

Подошедший к костру как-то по-своему меня понял, придвинулся к огню поближе. Это мне не понравилось. Навязчивый очень к ночи. Никакого доверия и дружбы не вызывал этот сумеречный, худощавый, как тень, человек. Что бродит он по чужим кострам?

— У вас тоже хороший нож,— сказал он, кивнув на мою финку, облепленную чешуей подлещиков, которая валялась у костра.

— Да это так... финка,— ответил я, намекая, что у моего товарища ножичек похлестче. Вот только что же он с ним сделал? Почему ищет?

Может, он его метал? Куда метал? В дерево? Зачем? Совсем дурак? Возможно.

Нет, мне не хотелось, чтоб товарищ мой был таким дураком, который мечет ножи в деревья. Может быть, он мечет его в рыбину, вышедшую на поверхность? В жереха? А ножик на веревочке?

Неплохо. Редкость, во всяком случае,— товарищ, который мечет нож в жереха, вышедшего на поверхность реки! Такой мне по нраву.

— Финка... У меня тоже когда-то была...— сказал сумеречный человек и взял в руки мою финку, пощупал лезвие подушечкой большого пальца.— Вострая...

— Положь на место.

— Что ж, и потрогать нельзя?

— Нельзя... Это нож... моего товарища.

Товарищ мой мифический, кажется, обрастал ножами. Один он метал в жереха, второй валялся у костра.

— У него что ж, два ножа?

— Больше,— ответил я.— Я точно не считал. А у вас есть нож?

— Отобрали,— махнул он рукой.

— Отобрали?

— Когда брали — тогда и отобрали... а нового не успел завести...

Вот так. Его, оказывается, брали. Я это сразу почувствовал.

Сумеречный человек молча смотрел в огонь. Кажется, вспоминал задумчиво о том славном времени, когда у него еще не отобрали нож. Интересно, что он делал этим ножом? Похоже — ничего веселого. Разговор о ножах мне нравился все меньше и меньше.

— А зачем товарищу-то вашему столько ножей?

— Андрюхе-то? — переспросил я.

Мне казалось, что «товарищу моему» пора получить какое-то имя. И оно возникло легко и просто: Андрюха. Рыжий, большой, даже огромный Андрюха, немного лысоватый. Метнул нож в жереха, да не попал.

Нож хоть и на веревочке, а утонул, и вот теперь Андрюха ныряет посреди реки, ищет нож. Мне ясно было видно, как ныряет огромный Андрюха посреди тихой реки, шарит по дну пальцами.

— Что ж он делает с ножами-то? — отчего-то хихикнул сумеречный.— Солит, что ли?

— Мечет,— лаконично ответил я. И все-таки добавил, пояснил: — В жереха!

Человек, у которого отобрали нож, задумался, вполне напряженно размышляя, каким образом Андрюха может метать нож в жереха. Работа эта проходила с трудом, и я, чтоб поддержать усилия, добавил:

— Он у нас... вообще... ножевик.

Это слово особой ясности не внесло, и я отошел немного от костра и покричал в сторону реки:

— Андрюха-а-а... Андрюха-а-а!..

С берега никто не ответил. Голоса женщин или чаек давно уже там утихли.

— Как бы не утоп...— пробормотал я себе под нос.

— Да не утопнет,— успокоил меня человек, лишенный ножа,— сейчас подойдет.

— Пора уж,— ворчал я на Андрюху.— Уха готова... ладно, пускай пока поостынет.

Я снял с огня котелок, отставил в сторону. Пар от ухи не стал смешиваться с дымом костра, встал над котелком отдельным пенным столбом. Человек сумеречный к ухе не придвигался, но сидел прочно, поджидая, как видно, Андрюху.

— Ладно,— сказал я,— остывает... похлебаем, пока нет Андрюхи. А ему оставим.

Я протянул ложку сумеречному.

— Ну, давай, пробуй.

— Да уж дождись товарища-то,— сказал он, встал и быстро пошел от костра в сторону деревни.

— Эй, да погоди ты, постой. Попробуй ухи, тут на всех троих хватит...

— Да ладно,— не оглядываясь, махнул он рукой.— Чего мне уха?

Быстро надвигалась ночь, и фигура его пропадала, удаляясь от меня в поле. Скоро ее уже не было видно.

Я хлебнул ухи, подсолил, поперчил. Потом отошел немного от костра и снова крикнул туда, в сторону реки:

— Андрюха-а-а-а... Андрюха-а-а!..

Совсем уже стемнело, когда я услышал издалека:

— Иду-у...



Татьяна КУЗОВЛЕВА

ГОРОЖАНКА

Живу на земле горожанкою,
При солнце живу,
При дождях.
За хворым и слабым — хожалкою,
Добытчицей — в очередях.

По будням — рабочей лошадкою.
По праздникам — будням
под стать —
Тащу, задыхаясь, украдкою,
Земную вселенскую кладь.

И прядка к щеке моей лепится.
Живу я,
судьбу не виня,
Той каменной бабы наследницей,
Что всем горожанкам родня.

Но доля моя не завидна ей:
Я ль стала с годами вольней?
И тесно
Скуластой да идольной
Ей в плоти непрочной моей.

И с нею,
немою советчицей,
Делюсь я заботой своей:
Нетрудно любить человечество,
Любить человека трудней.

И то — тяжелее болеется,
Надсадней живется тому,
Кто каменной дышит нелепицей,
Бездомностью дышит в дому.

И то — одинок он и бедственен
В толпе и с богатством своим,
Хоть вроде за что-то ответственен
И кем-то, быть может, любим.

Но в городе солнце не жаркое.
Не жарче ладони моей.
Не зябко ль со мной,
С горожанкою,
Тебе среди этих камней?..

КРУГ

Поставим точку
И начнем сначала:
Продолжим точку линией сперва
И закруглим без помощи лекала,
И круг замкнем
По воле естества.

И вспыхнет образ замкнутого духа
В космических границах бытия,
Где по законам
Замкнутого круга
Отсчитываться будет жизнь моя.

Все будет повторяемо и ново,
Ведь старт и финиш сходятся
впритык:
За первым криком
Наступает слово.
За словом — речь.
За ней — предсмертный крик.

О ТЕХ,
КТО УНЕСЕН В ДВАДЦАТЫХ

О тех, кто унесен в двадцатых
От нас отхлынувшей волной;
О тех,
Кто силился когда-то
Понять, что станет со страной;
О тех,
Кто сам ступил на сходни
Судов, с Россией рвущих нить,
О них — я на́ душу сегодня
Греха бы не взяла — судить.

Они себя не отторгали
Да и отторгнуть не могли
От русской — по снегам! — печали,
От мартовской ее земли.

Их мир был вздыблен,
Взвихрен,
Буен,
И все же большинство из них
Остались русскими,
как Бунин,
До самых крайних дней своих.

И, смертные, они бессмертно
Клялись России:
«Я вернусь!..»
Но были мы немилосердны:
Что нам чужие боль и грусть?
Казалось нам,
мы пересилим
Все, что вне нашего житья.
И кто виновней пред Россией —
Они иль мы —
Не знаю я.

* * *

Господа бога молю:
— Сотвори,
Чтобы двужильной была я!
Незащищенные плечи твои
Как защитить мне,
не знаю.

Окна и двери в дому затворю,
Карой врага застращаю.
Как не обидеть мне гордость твою
Тем, что тебя защищаю?

И заслонив тебя от клеветы
(Сколько бывали мы биты!),
Как обмануть мне тебя,
Что не ты —
Я пропаду без защиты?



Ирина
ЗНАМЕНСКАЯ

ОПТИМИСТИЧЕСКОЕ
ПОСЛАНИЕ

Дух посланий и слог их не ясен,
Но пускаю свой хлеб по реке:
До чего же ты, милый, прекрасен!
Да и я хороша — вдалеке...

А какое у нас государство!
А планета! А наша звезда!
Все эйнштейново божие царство
Насмотреться не может сюда.

А какие законы природы!—
Как захочешь, так ими верти.
А какие, однако, погоды.
И открытые всюду пути...

Я не плачу, но грех не поплакать,
Потому, точно Спас на крови,
Наших душ недоваренных мякоть
Дорвалась до всеобщей любви.

Лучше нас не бывает на свете
Там, где нет, кроме нас, никого...
А каков нынче западный ветер!
Как мы ловим ноздрями его...

ПОЗДНЯЯ ВЕСНА

Как мы страха не ведали — Бог
нас зна...
Как любили друг друга и жизнь
в придачу?..
И однажды утром пришла весна,
Как машина приходит весной
на дачу,

Где сгорели яблони в холода,
Где столу ли, столбу не стоится
прямо,
Но под домом в погребе стоит вода,
И вперед оттаивает выгребная яма,

А потом уж — черемуха
в желваках...
Непочатый край нелюбови сирой!—
Будто и не носили нас на руках,
Не справляли праздники всей
квартирой...

И еще не знаем, с чего начать:
Заржавел замок, подгнила застреха,
И еще попробуем покричать,
Подзывая на голос живое эхо,

Или, сев покурить, затоскуем
в дым
По-над Книгой Судеб (с чердака
гроссбухом),
Не завидуя старым и молодым,
Точно в дальний путь, собираясь
с духом...

* * *

Еще одна кончается блокада,
Приподымая ледяные веки:
Как жизнью из подтаявшего сада,
Потягивает из библиотеки.

Еще душе просторней в черном теле,
Чем доходяге в праздничном
костюме.
Еще опасно, как при артобстреле,
Солировать, не прячась
в общем шуме.

Еще схватить за горло и за ворот
Нас могут, обзывая «молодыми»,
Но горожанин
И огромный город
Припоминают собственное имя...



Елена АКСЕЛЬРОД

* * *

Смешалось небо с черною землей.
Вцепился липкий снег в немую
почву.
Нагие ветви, серою полой
Прикрывшись, чуть шевелятся,
хлопочут
О нас, чьи ноги вязнут в размазне,
Чей взгляд погасший норовит
влепиться
В обойные узоры на стене —
В разводах линий не цветы,
а лица —
Гляжу, гляжу — и не могу узнать
Вмурованных в раскрашенную
кладку,
Высь осыпается в мою тетрадь,
И, может, оттого слежу украдкой,
Как проступают из небытия
Сквозь лепестки дешевого уюта
Те, про кого забыть успела я,
Кого с земли спроваживали круто.

БЫВШАЯ

Глянцевые легкие гондолы
Реют над старинным шифоньером...
Сверху вниз глядят на шкаф
тяжелый
Барышня с красавцем гондольером.

Из гондолы под не нашим ветром
Смотрят сверху вниз на стол
разбитый...
Разве десяти квадратным метрам
Уместить все то, что пережито?

Что уплыло с той гондолой дальней?
В прадедовской солнечной квартире
Над просторной детской и
над спальней
Песни комсомольские в эфире...

С грозными соседками не споря,
По утрам конфорку караулит,
Варит ежедневный свой цикорий
В медной истончившейся кастрюле.

В комнату опасливо ныряет,
А когда уйдут кто помоложе,
Задыхаясь, пол на кухне драит,
Машет редким веничком в прихожей.

И одна, оцепенев надолго,
В эркер серый смотрит, не мигая...
Белых лебедей плывут гондолы,
Вдоль пруда колясок детских стая.

* * *

Здесь Глазунов, а там Филонов.
Чудачат, плачут, рвутся годы,
Как будто не было заслонов,
Как будто мы другой породы.

От благолепья до скелетов.
Музеи здесь, а там вокзалы,
Где третьи сутки ждет билетов
Мой современник одичалый.

Свернулся на полу ребенок,
Укрытый драной мешковиной.
И голос обновленья тонок,
Как скорбный нестеровский инок.

И дальнозоркость так ущербна,
Что стекол для нее не сыщешь.
Увидишь только горстку щебня
И горизонт, как пепелище.

Телевизионная провинция

Лидия ПОЛЬСКАЯ

Года полтора назад, воодушевленная переменами на ЦТ, я написала небольшую заметку, исполненную оптимизма и веры в то, что дело пойдет и дальше, по наступательной — «все выше, и выше, и выше...» Но спустя несколько месяцев мною овладел некий скепсис, и я, будь такая возможность, отчасти переписала бы свой текст: отметила бы новый тип передач вроде «Взгляда» и «120 минут», но опечалилась тем, что воспетый мною «12-й этаж» выходит всего раз-другой в год, что в ходе перестройки успел восемь месяцев пролежать на полке телефильм «Процесс», что объявлена устаревшей программа «Мир и молодежь», на мой взгляд, вовсе не устаревшая, и не вышел в эфир объявленный в конце прошлого года хит-парад «Точное попадание».

Если хотите, считайте все это придирками, обыкновенным критическим ехидством или, как раньше говорили, «выискиванием недостатков». Ведь лучше стало телевидение? Лучше. Ну и прекрасно! Чего там еще... Что же, если нам достаточно того, что наутро мы перескажем друг другу несколько острых фраз или вспомним пару критических сюжетов из вчерашней программы, значит, можно вполне удовлетвориться тем телевидением, которое мы уже имеем. Если же мы хотим, чтобы оно, сообразно своей природе, являлось самым мощным голосом обновляющегося государства и играло авангардную роль в процессе демократизации, мы должны говорить о том, почему этого пока не произошло.

Не хочу допытываться со злонамеренностью, кто в этом виноват,— поименные списки не панацея. Бессмысленно сваливать неудачи на чье-то персональное торможение: здесь тот начальник виноват, здесь — этот. Попробуем взглянуть на проблему чуть шире, чтобы понять, заложена ли способность к кардинальным изменениям в нынешней системе Гостелерадио.

Она возникла в тот период, когда вся сегодня справедливо критикуемая административно-командная система управления уже была создана, признана единственно возможной и не имела никаких реальных альтернатив. Новая ячейка этой системы — телевидение — несмотря на двуединое содержание, включающее в себя и технологию, и идеологию, неминуемо должна была строиться по сложившемуся принципу с расчетом на взаимосвязь и аналогию со всеми «ядрами» административной вселенной. В этом была своя логика: Гостелерадио подчиняется Совету Министров СССР, состоит на государственном бюджете, его техническое обеспечение зависимо от общего уровня экономики. Идеология при создании ведомства была принята во внимание лишь как конечный нематериальный продукт, требующий больших материальных затрат, но для государства, несомненно, важный. В новой ведомственной структуре специфика почти не была учтена, зато, как многие прочие министерства, Гостелерадио стало монополистом: ни одна передача, ни один сюжет, ни один кадр не проходят в эфир, не создаются без участия или контроля Гостелерадио. И это тоже объяснимо для тех времен, когда Центральное телевидение имело лишь один общенациональный канал.

Структура Государственного комитета СССР по телевидению и радиовещанию мало чем отличается от иерархии министерства тяжелого машиностроения или легкой промышленности: коллегия Гостелерадио, главки (главные редакции), отделы (редакции), местные филиалы и, наконец, самое низшее звено — производители, то есть творческая группа. Как видим, все это напоминает очертания пирамиды, многократно в последнее время описанной: жесткий административный каркас оплетает все клетки — все то, что относится к непосредственному творчеству, определяющему содержание и смысл телевидения как массовой коммуникации.

Вся эта пирамида, как организация бюджетная, пронизана вертикальным подчинением низших эшелонов высшим. По существу, отношения между «этажами» подобного ведомства напоминают феодальные: вассал, не обладающий ни правами, ни средствами, может лишь попросить «на идею», а сюзерен волен отказать, часто не вступая в обсуждение мотивов отказа. А где он действительно наберется денег на всякую, пусть и гениальную, идею? Они ведь возникают не всегда в плановом порядке и не всегда дешевы! Не далее как год назад, просуществовав всего два-три месяца, исчезла вторичная программа «Взгляд». Объяснялось это исключительно финансовыми мотивами: нужны были деньги для других молодежных программ, хотя зритель, я полагаю, смотрел «Взгляд» по вторникам с тем же интересом, что и по пятницам. Так идея может заглохнуть на корню лишь потому, что творческая группа не имеет экономической самостоятельности. Вряд ли и руководство Гостелерадио испытывает восторг от своей роли «государственного нахлебника»: это связывает руки. Но, пока не зарабатываешь деньги сам, терпи! Только в самое последнее время мы слышим о том, что некоторые передачи ищут спонсоров. Может, это начало новых отношений на телевидении?

Бюджетная зависимость, строгое планирование внутри Гостелерадио — объективные условия существования ТВ. Но иногда ими лукаво пользуются, чтобы сгладить или загасить конфликты между администрацией и творческими работниками. Весной прошлого года пленум Союза кинематографистов СССР, обсуждавший — впервые! — проблемы телевидения, потребовал объяснений у руководства Гостелерадио: почему лежит на полке телефильм «Процесс»? Руководство закрыло вопрос, сославшись на несоответствие фильма сценарию, нарушение плановой дисциплины и т. п. Я не знаю ни одного человека, который бы счел этот аргумент единственной причиной закладывания фильма на полку. Но как удобно отговориться тем, что «свято»!

Знакомая ситуация, не правда ли? Администрация — по одну сторону некоего невидимого барьера, а художник — по другую. И это разделение запрограммировано изначально, потому что поддерживать работу планового, бюджетного ведомственного механизма может и должен чиновник, который, служа взаимодействию всех деталей, колесиков, винтиков иерархии, не в состоянии — да по функции своей и не должен — учитывать элемент хаоса, который сопутствует любому творчеству. Внезапные идеи, изменение замысла, претензии, самолюбие, творческие неудачи — все это не вписывается в ведомственную схему, мешает ее функционированию. Понятен праведный гнев Эльдара Рязанова, обрушенный на телевидение: униженное достоинство художника, малопонятные потаенные функционерские игры — накипело! А все-таки мне кажется, зря гремели громы над головой главного редактора Главной редакции кинопрограмм Центрального телевидения Кононыхина. Он порученец, представитель пирамиды, одна из ее опор. Выбив ее — персонально,— надо было бы тут же поставить точно такую же, лишь с другой фамилией. А вдруг стало бы лучше, легче? Не исключаю благотворную роль личности постольку, поскольку и случайности запрограммированы. Но не преуменьшаю силу системы.

Сегодня все административно-командное управление критикуется как архаичное, тормозящее развитие здоровых экономических отношений. Министерства, быть может, не так быстро и охотно, как хотелось бы, меняют свои функции, предприятия приближаются к эре хозрасчета. Телевидение, не поступившись ни единым административным звеном, сохраняет свою строгую пирамидальность. Хотя, надо отдать ему должное, на ТВ возникла созвучная времени идея «внутреннего хозрасчета», ради которого... руководство настаивает на создании еще одной Генеральной дирекции! Система не сдается. Она должна себя защищать.

Но выскажу предположение, может быть, рискованное: укрепляя свою монополию, телевидение играет против себя!

Монолитность не есть гарантия неуязвимости. Телевизионная пирамида не заканчивается министерским этажом, нельзя скидывать со счетов и «шпиль», подчеркивающий архитектурную завершенность всей многоэтажной конструкции.

Как самый крупный монолитный идеологический орган телевидение концентрирует на себе заинтересованное внимание разных ведомств — соседних, высших, и не только тех, которые непосредственно связаны с идеологией, культурой, искусством, информацией. В силу этого оно — и часто незаслуженно — вызывает на себя огонь этих ведомств, задетых, обиженных критикой, воспринимающих ТВ только как официальный голос и страшащихся по старинке последующих «санкций», либо просто не желающих, чтобы их недостатки были обнародованы столь эффективным способом — через телеэкран.

Те, кто работает на ТВ, признают, что количество влияющих и влиятельных «векторов» уменьшилось. Уменьшилось... Но разве могут они все исчезнуть вдруг? Вот если бы программы ЦТ были независимы друг от друга, если бы они по-разному комментировали одно и то же событие, если бы одна нападала, но другая, имея собственную точку зрения, могла бы защитить — уже и тогда бы раскололось представление о ЦТ как верховном судии, и прессинг со стороны стал бы слабее. Сегодня он лишь отягощает деятельность ЦТ, заставляя его поневоле оглядываться по сторонам, учитывая и возможные обиды, и возможные конфликты с недовольными тем, что высказано с экрана.

Вот и получается, что все этажи давно сложенной и сегодня устаревшей телевизионной пирамиды от нижнего этажа до верхушки «шпиля» связаны между собой разнообразными интересами: финансами, идеями, техникой, телефонными звонками — и зависят друг от друга. Но что зритель? Каковы его собственные рычаги влияния на телевидение, ведь в конце концов ради него построена и запущена вся эта огромная махина! Он, как видим, остается за пределами этой взаимосвязи интересов.

Под влиянием демократизации, гласности спрос, идущий снизу, учитывается телевидением чаще, чем прежде. Порой он совпадает с предложением, идущим от ЦТ. Уже прогресс! Лет семь тому назад один из бывших руководителей ЦТ напрямую, не испытывая смущения, уверенный в своей правоте, сказал мне, что на спрос снизу телевидение вообще не должно опираться. Роли распределялись следующим образом: телевидение вроде бы пастырь, а зрители — овечки, послушно жующие травку на том пастбище, куда их пригнали. Ситуация изменилась. Спрос попал в разряд категорий если не определяющих, то по крайней мере уважаемых. Однако контролером телевидения он, этот спрос, а по существу, общество, еще не является и не станет им, пока телевидение будет, благоденствуя, существовать в своем «замкнутом цикле». Телевидение, даже изменившись и улучшившись, и в последнее время отменяло передачи по своему разумению или выдавало их в эфир гомеопатическими дозами. Мы ничего не смогли сделать, когда почти на полтора года пропала программа «Что? Где? Когда?». И снова ничем не поможем ей, если — не приведи господи! — возникнут новые затруднения с нею ли, с другой... Практически все фильмы с телевизионной полки показаны, но нет пока гарантий, что она опустела навсегда: или само ведомство «сочтет нужным», или со стороны, как бывало, кто-то осуществит свое «телефонное право». А ведь достаточно в одном месте перекрыть кислород, на другое телевидение художник не уйдет, такого не существует.

Казалось бы, единый хозяин — фактор, способствующий определенной линии, платформы ЦТ. Но нет, вот же парадокс! Концепция появляется там, где есть выбор: по этому пути идти или по другому. Само собой напрашивается сравнение с газетами и журналами, которые независимо друг от друга выбирают свой путь и стратегию, а на их основе складывают долгосрочную концепцию, и уже ясно, кто попутчик, а кто оппонент. Телевидение, собравшее под свою

крышу все и вся, естественно, собственной концепции выбрать не может. Сейчас мы более всего обращаем внимание на общественно-политические программы и именно здесь видим сдвиги ТВ в лучшую сторону. Но ТВ — это еще и телевизионный кинематограф. Чем он радовал нас в последние годы? Не припомнить. Телевидение — это еще и информация. Удовлетворены ли мы и сегодня ее количеством и качеством?

Закономерно, что нет собственных концепций и у каждого из общенациональных каналов: они на равных подчиняются коллегии Гостелерадио, кормятся из рук Главной редакции программ, которая распределяет все, предназначенное для показа по ТВ, следуя лишь традициям: «120 минут» — на первую, «Телевизионное знакомство» — туда же, а многие — куда получится. А почему, собственно, должно быть по-иному, если хозяин один? И может ли он быть заинтересован в том, чтобы каждый канал имел свою концепцию, платформу и, более того, экономическую независимость от соседа? Ведь это затруднит контроль, управление и распределение, это повлечет за собой расшатывание пирамиды, в чем на первый взгляд она сама ни в коей мере не может быть заинтересована! Но это лишь на первый взгляд, потому что в экономических условиях, рождающихся сегодня, любая монополия, если не сейчас, то завтра, почувствует себя больным организмом. «Раскол» принесет ей только облегчение, создав условия для большей самостоятельности. Тогда и ориентация на общественные запросы станет жизненной необходимостью, условием выживания, а не случайной милостью без всяких гарантий, дарованной нам, телезрителям.

Вспоминая телевидение семидесятых — начала восьмидесятых годов, можно с благодарностью говорить о том, как оно продвинулось. Но его ли только, телевидения, заслуга в этом? Нет, скорее всего общества, политических изменений, гласности. Волей-неволей пирамида должна была отреагировать на то, что происходит вовне. Она сделала то, что могла, не изменяясь качественно: произошла реабилитация прямого эфира, тексты стали откровеннее, информация полнее. Не стоит преуменьшать заслуги и достижения. Но все-таки отречемся от въевшейся привычки сравнивать, оборачиваясь назад: давайте посмотрим вокруг.

По выступлениям в газетах и журналах общество сумело узнать лидеров перестройки, ее «мозговой центр»: Алесь Адамович, Юрий Афанасьев, Федор Бурлацкий, Юрий Карякин, Отто Лацис, Андрей Нуйкин, Гавриил Попов, Андрей Сахаров, Святослав Федоров, Анатолий Стреляный, Юрий Черниченко, Николай Шмелев, Натан Эйдельман — называем лишь некоторых. Главные редакторы газет и журналов стали популярны, словно кинозвезды. Их издания — и они сами персонально — как бы олицетворяют перестройку. На выступления публицистов прорываются теперь так же, как раньше на «Бони М.».

А кто тот «прораб перестройки» (любимое выражение телекомментаторов), которого мы узнали по выступлениям на ТВ? Кому из публицистов, социологов, экономистов, юристов и тех, кого я вспоминала, и тех, кого не назвала, телевидение предоставило личную — да, личную! — трибуну? Нет такой передачи. Некого назвать. Время от времени вкрапливаются в разные программы интервью то с одним, то с другим. А ведь телевидение могло бы сделать этих людей из читаемых видимыми, знакомыми, ежедневными собеседниками. Сомнений нет, большинство телевизоров было бы включено во время подобной, пока лишь воображаемой, передачи — монолога, трибуны. Такая программа нам нужна, но ее нет как нет. И пишите тысячи писем (не исключаю, что они уже и написаны, и получены на ЦТ) — не мы, зрители, будем принимать решение. Была в сетке вещания подобная передача в мае — июне: «Прошу слова». Имела успех. Но после Всесоюзной партконференции рубрику закрыли. То ли не заметили успеха, то ли не посчитались с ним?

Хоть раз мы видели на экране ЦТ дискуссию хотя бы в записи между неформальными группировками? Увы... Слышали хоть раз, чтобы ведущий одной программы оспорил ведущего другой? Не принято. Да и ведущих, по-настоящему достойных этого звания, пока раз-два и обчелся...

Источник информации — ТВ, хотя и набрало обороты, но догнать информируемого — зрителя все еще не может, потому что тот, не ожидая милостей от ЦТ, питался из мощных источников публицистики, литературы, где документы, воспоминания, интервью раскапывали гнилое болото бездумья вольного и невольного. А на телевидении до сих пор нет ни одной передачи, соответствующей нашему желанию узнать правду о своей не столь отдаленной истории. Не так уж часто мы видим на экране людей, пострадавших от сталинского террора. Телевидение не несется со своими передвижными станциями туда, где происходят главные события наших дней. Мы практически не знаем своей истории «в лицо», хотя остались километры пленки. Темы сталинских репрессий, распада крестьянства во время коллективизации, истинной цены победы в войне если и прорываются на телеэкран, то не они определяют его лицо. Фильмы «Процесс» и «На путях перестройки» лишь отчасти восполняют белые пятна — и истории, и телевидения, остающегося по этой части должником своего зрителя. Ну неужели все человеческие документы, как в стародавние, дотелевизионные времена, сохранит лишь нетленная бумага, а камеры телевидения так и не будут включены, а руководство ЦТ — весьма справедливо — будет ссылаться на объективные причины. Нерасторопность, техническая отсталость, осторожность — все вместе обернется для нас в будущем непростительной ямой в истории.

И ведь действительно то телевидение, которое мы имеем, не может, не способно полностью соответствовать нашим притязаниям!

Нынешняя телевизионная ситуация в чем-то напоминает ту, что сложилась в августе прошлого года с подпиской: лимитированная гласность! Как иначе это назвать, если в стране с населением почти в триста миллионов существует всего два общенациональных телеканала! Первый может принять 97 процентов населения, а второй — всего 71 процент. Чем не лимит?

Перестройка телевидения должна идти в сторону, расширяющую возможности конкуренции, выводящую ее на одно из принципиальных мест в «телевизионном сознании» и обеспечивающую экономическую заинтересованность телевидения в зрителе. Естественно, одно связано с другим.

Мысль о телевизионной конкуренции уже высказывалась в прессе. Более того, и руководство Гостелерадио не чуждо подобным идеям, но при этом, «исходя из реальных возможностей», полагает, что вопрос о конкурирующих программах можно поднять только через две пятилетки.

Да это уже двадцать первый век!

А что делать? Ведь действительно технологически отсталое телевидение не может вдруг перепрыгнуть через несколько ступенек, за год-два открыть еще несколько каналов да к ним же прибавить коммерческий, независимый. Это утопия, пусть и стыдно в этом признаваться, поскольку в развитых странах не три, и не четыре, и даже не восемь, а куда больше каналов считается уже сегодня нормой. Что ж, последствия неторопливого развития бюджетного телевидения сразу не ликвидировать, думать надо о том, что можно было бы предпринять сегодня.

Первый шаг, мне кажется,— разделение уже существующих общенациональных каналов. Они должны быть независимы — и в плане управления, и в плане экономическом. Пусть каждый из них, используя государственные средства, борется за дополнительные, свои собственные, заработанные — не отторгаемые и не передаваемые на другие каналы. Пусть каждый из них ищет спонсоров, зарабатывает рекламой, и чем интереснее будут программы этого канала, тем с большей охотой реклама пойдет на него и тем больше будет средств, чтобы реализовать идеи, пусть и самые сумасшедшие, самые дорогие. Пусть каждый канал имеет право снимать свои фильмы. Такое разделение неминуемо изменит отношение к зрителю — за него надо будет бороться. Оно же будет стимулировать развитие социологической службы, да и художник не будет связан крепостной зависимостью с единственным телевидением. Противостояние художника и чиновника лишится фатальности: в случае конфликта можно уйти на конкурирующий канал. И, наконец, раздельные каналы материализуют на телеэкране, вслед за газетами и журналами, понятия плюрализма, концепции, платформы. При этом возникнет вопрос: какова роль «крыши», все того же Гостелерадио?

Наверное, только тогда можно будет говорить о реально свершившейся перестройке телевидения, и мы станем зрителями качественно иного ТВ, заинтересованного в каждом из нас.

Дело экономистов, юристов, социологов выстроить модель настоящего хозрасчета телевидения с аудиторией. Рано или поздно эти поиски начнутся: «статус-кво» нашего ТВ устарело уже сегодня. А завтра?

Тем временем Центральное телевидение сообщает: в Венгрии начинает действовать коммерческий канал — девять часов вещания в сутки. В Польше устанавливают антенны для приема телепрограмм многих европейских стран. Где-то для кого-то уже наступила эпоха кабельного телевидения.

А мы все ощущаем себя провинциалами, обитающими на окраине соединенной телекоммуникациями планеты, и, водя пальцем по расписанию первой и второй программ, выбираем как из единого, ничем не различимого целого те передачи, которые по домашнему прогнозу способны привлечь наше внимание сегодня. Нет таких — обязательно найдется какой-нибудь фильм. Или вовсе выключим телевизор. Благо ЦТ бдительно следит, чтобы передачи слишком часто за полночь не заканчивались. И правильно делает: спать надо ложиться вовремя, чтобы не страдала производительность труда.

БЕЗ ПОПР[...] НА СЕГ[...] ДЕНЬ

Беседа один на один глав государств и правительств всегда окружена ореолом таинственности, который только усиливают сжатые до предела тассовские сообщения. Но главная загадка подобных бесед заключается все же в другом — в них принимают участие не два, а четыре человека. Кто же эти люди, которые, помимо руководителей, оказываются в центре самой большой, как говорят дипломаты, политики, становятся свидетелями сложных, полных драматизма ситуаций? Это переводчики. Один из ведущих советско-американские отношения дипломатов, заместитель начальника Управления США и Канады МИДа, блистательный переводчик Виктор Михайлович Суходрев, присутствовал при стольких встречах один на один, что, наверное, установил своеобразный мировой рекорд.

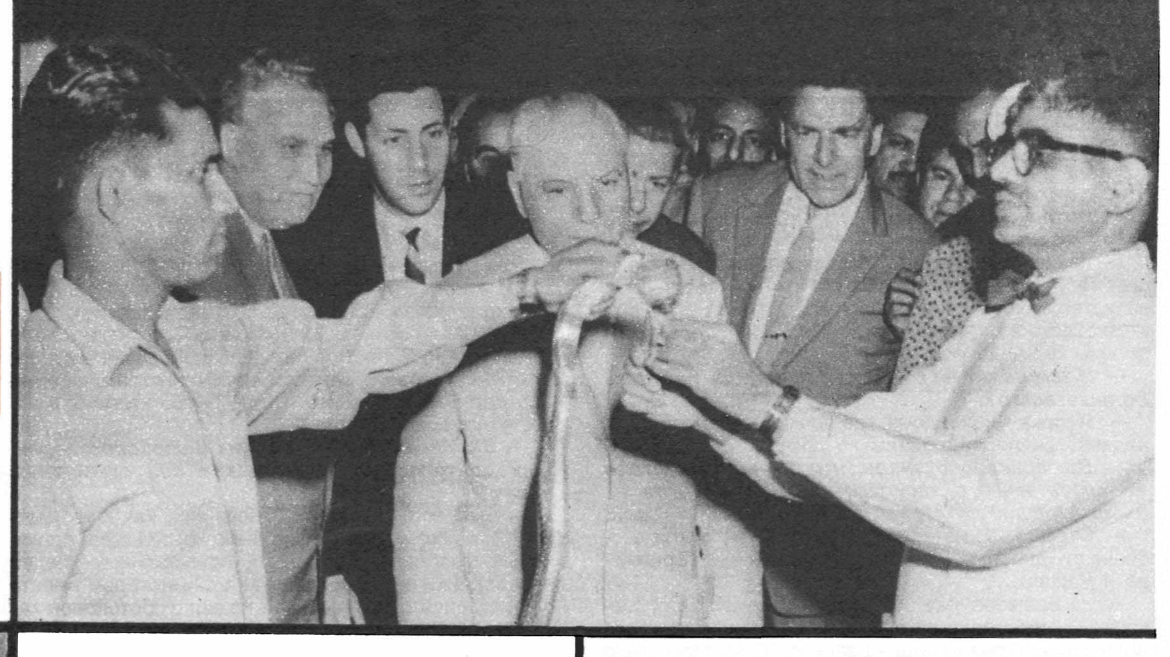
— Виктор Михайлович, воспоминания политиков высшего ранга во все времена притягивали людей, из первоисточников надеявшихся узнать, почему события разворачивались так, а не иначе, о чем шла речь в беседах один на один, ну и, наконец, как руководители государств воспринимали друг друга. Причем не секрет, что простые читатели относились к подобного рода литературе с огромным доверием. Скажите, а как ее воспринимали вы — профессионал, свидетель многих исторических встреч и переговоров?

— С большим интересом читаю воспоминания людей, с которыми мне довелось общаться. Любопытно читать описание событий, в которых и сам принимал участие. Однако я пришел к выводу, что объективных мемуаров не бывает. На мой взгляд, любые воспоминания — это попытка описать прошлые события или конкретных людей с обязательной поправкой на сегодняшний день.

— Для нас сегодня особый интерес представляют воспоминания о руководителях нашей страны. Это не праздное любопытство, а, наверное, нормальное желание знать, как люди, облеченные огромной властью, вели себя в тех или иных ситуациях — информация, которой мы были всегда лишены. Насколько мы можем доверять подобным воспоминаниям, если оценки авторов различны? Вот, например, бывший президент США Ричард Никсон, характеризуя Брежнева как живого и энергичного человека, в подтверждение своих слов привел один драматический, по его мнению, эпизод, который произошел

АВКИ
ОДНЯШНИЙ

Интервью заместителя начальника Управления США и Канады МИД СССР Виктора Михайловича СУХОДРЕВА нашему корреспонденту Дмитрию БИРЮКОВУ.





- ***Ворошилов в Индии. Язык дипломатии?***
- ***Хрущев и Кеннеди. Все еще впереди?***
- ***Брежнев и Никсон. Быть или не быть? To be or not to be?***
- ***Брежнев и Киссинджер в Завидове. Идет охота.***





в Кэмп-Дэвиде. Там Никсон подарил Брежневу автомашину. Осматривая подарок, оба руководителя сели в «олдсмобиль» — Брежнев за руль, Никсон рядом. И вдруг, вспоминает Никсон, Брежнев завел машину и сильно газанул. Охрана была застигнута врасплох. Но больше испугался Никсон, который знал, что через несколько сотен метров дорога делает крутой поворот. Он написал, что это были самые напряженные минуты, когда лидеры двух сверхдержав, не имея возможности разговаривать друг с другом, мчались навстречу смертельной опасности.

— Я бы не хотел Никсона ни в чем уличать, но, вероятно, он забыл, что на заднем сиденье был я. К тому же Брежнев прекрасно водил машину. Я очень хорошо помню, как выкатили автомобиль и Никсон вручил Брежневу ключи. Едва освоившись с приборами и рычагами, Леонид Ильич завел автомобиль. Крутой вираж действительно был, но я уже сказал, что Брежнев отлично водил, и мы успешно миновали этот поворот. Так что ничего драматического в том эпизоде я что-то не припомню. Вот, кстати, и иллюстрация к достоверности мемуаров. С этой машиной, правда, был другой случай, который как нельзя лучше характеризует Брежнева и нашу экономическую систему. Однажды я получил приказ срочно прибыть в Кремль к Леониду Ильичу. Честно говоря, я был удивлен, потому что точно знал, что на это время не предполагалось ни одной зарубежной делегации. Оказалось, меня вызвали для того, чтобы посмотреть каталог к автомобилю и выписать запасные части. «А вдруг что-нибудь сломается»,— сказал Брежнев, хотя доподлинно было известно — «олдсмобиль» не потребовал бы ремонта еще много лет. Так я и сидел в его кабинете, листая документацию и выясняя, что нужно заказать в США.

Неточностей в воспоминаниях хватает. Вот еще один пример, на этот раз из воспоминаний бывшего государственного секретаря США Генри Киссинджера. Дело было в подмосковном местечке Завидово, где проходили переговоры между Брежневым и Киссинджером. Шла интенсивная беседа, как вдруг Брежнев сказал: «Генри, давай поохотимся». Киссинджер развел руками: «Я не охотник, даже стрелять не умею». «Ничего,— отвечает Брежнев,— стрелять буду я». Киссинджер в своих воспоминаниях об этом пишет очень подробно, потому что именно там, на охоте, состоялась очень важная беседа, которую я потом письменно воспроизводил по памяти. После того как Брежнев подстрелил очередного кабана, вернее, ранил, неизвестно откуда выбежали егеря и помчались отлавливать раненое животное. Мы же остались на пятиметровой вышке, расположившись за столом, и начали вынимать из охотничьей сумки хлеб, колбасу и, как написал Киссинджер, «откуда-то появились бутылки с пивом». Я же могу вам сказать, что, кроме пива, там было еще кое-что.

— А зачем же Киссинджер опустил столь несущественную деталь? Тогда ведь ни в Америке, ни у нас со спиртным не боролись?

— Это так. Но беседа была настолько серьезной, что, напиши он не только о пиве, в его стране могли бы засомневаться в нем как в политике.

— «Огонек» недавно опубликовал отрывок из воспоминаний Валери Жискар д'Эстена, в котором бывший президент Франции написал, что Брежнев довольно откровенно говорил с ним о своем здоровье. Вам не приходилось быть свидетелем подобных бесед?

— Нет. Я никогда не слышал, чтобы Брежнев обсуждал с кем-нибудь свое здоровье. Случалось, правда, он интересовался, хорошо ли, понятно ли он говорит — это его волновало.

— Скажите, а мог Брежнев во время переговоров вспылить, не согласиться с мнением своего собеседника?

— Вы знаете, он вообще ни с кем не хотел портить отношений.

— Интересно, а какое впечатление осталось у вас от этого человека?

— Лично мое мнение. Необразованный, незнающий. Ленящийся читать даже то, что ему давали. Он не хотел глубоко вникать ни в один вопрос и при этом отделывался фразами типа «тут надо посоветоваться, тут надо подумать».

— И тем не менее с ним вам пришлось работать больше всего?

— Я даже живу в доме, где он жил,— с этого дома недавно сняли мемориальную доску.

— Вы прекрасно знали, что за человек стоял во главе нашего государства. Вам никогда не было страшно за страну да и за себя?

— Страшно — нет. Стыдно — да. Мне стало особенно стыдно во время беседы один на один Брежнева и Картера.

Тогда Брежнев уже без бумажки ничего не произносил. Беседа один на один заключалась в том, что Брежнев зачитывал подряд заранее приготовленные тексты, плохо воспринимая то, что говорил в ответ Картер. Для того чтобы отреагировать на возможные вопросы, несколько заготовок дали и мне. В случае необходимости я должен был передать их Брежневу. Среди бумаг одна была особой. Все зависело от того, как Картер поставит вопрос: или следовало читать всю заготовку ответа, или только половину. Когда Картер задал вопрос, я зачеркнул в тексте ненужную часть и передал листок Брежневу. Он начал читать и, добравшись до зачеркнутого, обернулся ко мне: «А дальше читать не надо?» «Не надо»,— ответил я и с ужасом посмотрел на Картера и его переводчика, которые внимательно наблюдали за этой сценой, прекрасно понимая, что происходит. Мне стало по-настоящему стыдно.

— А если бы Брежнев что-нибудь добавил от себя?

— К счастью, к этому времени Брежнев от себя ничего не добавлял. Потом не забудьте — за бумагами, которые он читал, стояли конкретные, в том числе и очень умные, люди. Другое дело, раньше мы хорошо умели завязывать узлы в международных делах, но не умели их развязывать, не умели при переговорах учитывать позицию другой стороны.

— Виктор Михайлович, путь в дипломатию всегда окружен слухами и разными небылицами. Если не секрет, я бы хотел узнать, когда и как вы поступили на работу в МИД?

— В 1956 году после окончания института я начал работать в Бюро переводов МИДа. Тогда там служило всего десять человек. Для сравнения — сегодня в Управлении по переводческому обеспечению (если честно, то название мне не нравится) трудится более ста человек. Переводчик — это особая профессия. Если хотите, талант переводчику необходим так же, как и музыканту. Представьте сложную беседу двух политических деятелей из разных стран. В ней все важно: и отдельное слово, и интонация, с которой оно произнесено. Вот здесь на первый план и выходит переводчик, который просто обязан создать иллюзию прямого разговора.

— Виктор Михайлович, вас, наверное, на улице узнавали, ведь вы все время появлялись в кадре с руководителями глав государств и правительств. Вы не помните, сколько встреч один на один вы переводили?

— Не помню. Могу только сказать, что Джордж Буш — восьмой президент США, с которым я знаком.

— Скольких советских руководителей вы переводили?

— С 1956 года.

— Хрущев, Брежнев?

— Нет, не только. Еще переводил Булганина, Молотова, Маленкова, Кагановича...

— Виктор Михайлович, неужели вас сразу же допустили переводить столь высоких деятелей без специальной проверки? Просто не верится.

— Не знаю, наверное, проверяли. По крайней мере я знаю только об одном случае. В институте на первом курсе ко мне подошел кадровик и попросил объяснить, почему я написал, что родился в 1932 году в городе Каунасе Литовской ССР. «В 1932 году Литва ведь буржуазной была»,— допытывался кадровик. «Конечно, буржуазной, но ведь в анкете в графе сказано: «населенные пункты указывать по современному административно-территориальному делению»,— ответил я. В Каунасе в то время мои родители работали, командированные Министерством внешней торговли. Не знаю, удовлетворил ли его мой ответ, но больше он ко мне не обращался.

— И все же, как вы стали переводчиком?

— Это была цепь случайностей. Когда я оканчивал институт, в Англию должна была поехать делегация строителей. Им срочно понадобился переводчик. А со мной на курсе как раз учился сын одного сотрудника этого ведомства. Он и сказал отцу, что его сокурсник хорошо говорит по-английски. Последовал официальный запрос, и я поехал. Потом была еще одна командировка в Женеву.

— И в бюро переводов вы тоже случайно попали?

— Да. Олег Александрович Трояновский, нынешний посол в Китае, ас перевода, собирался перейти на чисто дипломатическую работу и подыскивал себе замену. Ему порекомендовали меня. После маленького экзамена, который состоял в том, что я перевел сначала отрывок из «Правды», а затем какой-то английский текст, Олег Александрович дал заключение первому заместителю министра иностранных дел В. В. Кузнецову. Очень скоро на меня в институт пришел запрос.

— Вы переводили стольких высокопоставленных деятелей. Скажите, а как они относились к вам?

— Бывало и такое, что относились, как к табуретке. Но, в общем, отношение было хорошее. На протяжении многих лет во время официальных обедов переводчики всегда сидели за одним столом вместе с делегациями, хотя в соответствии с протоколом мы относились к техническому составу. Кстати, в ряде других стран переводчики всегда сидели сзади. К сожалению, и мы сейчас пришли к такой практике. А раньше я вспоминаю, как возмущался Анастас Иванович Микоян, когда во время командировок меня или моего коллегу не сажали вместе со всеми. Он неизменно подзывал официанта и приказывал накрыть еще одно место. Так же реагировал и Дмитрий Федорович Устинов.

— Ну а кто конкретно к вам относился, как к табуретке?

— Булганин, Ворошилов. Ворошилов был вообще недалеким человеком. Когда же я с ним работал с конца 1956 года, он уже страдал старческим маразмом. Вот для него переводчик был хуже самого последнего денщика. Мне повезло, таких людей было мало. Я вспомнил только двоих.

— А с кем у вас сложились самые теплые отношения?

— С Алексеем Николаевичем Косыгиным. Это была выдающаяся личность — по культуре, по образованию. Многих отпугивало строгое выражение его лица, но на самом деле это был исключительно душевный человек, обладающий необычайным тактом, чувством юмора. Для меня он был образцом руководителя, особенно на фоне того серого руководства.

— Интересно, что мнения всех, кто общался с А. Н. Косыгиным, совпадают. Совсем другая ситуация складывается с Н. С. Хрущевым. И хотя сейчас о нем появилось много статей и книг, мне бы хотелось узнать, каким Хрущев запомнился вам?

— Неоднозначным. С одной стороны, у него было потрясающее чутье в политике, с другой стороны — на протяжении всей его карьеры ему недоставало знаний. И все же личностью он, безусловно, был. Печально, что к концу Хрущев стал абсолютно нетерпимым к другим мнениям, что не могло не сказаться на стиле руководства да и на отношении к нему. Я сам лично был свидетелем двух случаев, которые меня в свое время потрясли. Первый имел отношение к сельскому хозяйству, другой к культуре.

Так получилось, что я сопровождал Хрущева во время его последней поездки по целинным землям. Тогда инакомыслие в сельском хозяйстве состояло в защите чистых паров, против чего Хрущев решительно выступал. Мы находились в одном целинном совхозе, когда, проезжая вдоль поля, Хрущев неожиданно увидел распаханную, но незасеянную землю. Он тут же велел остановиться и обрушился на женщину — директора совхоза. Выдержав первый заряд гнева, директор, пытаясь защититься, сказала, что только благодаря чистым парам их совхоз получает намного больше зерна, чем соседи. Ее ответ прозвучал убедительно, но Хрущев не слушал: «Я же сказал, запретить». В разговор вступил министр заготовок, который поддержал директора и попытался доказать выгоду чистых паров, но Хрущев и его грубо оборвал.

Второй раз я был свидетелем проявления нетерпимости со стороны Хрущева, когда в Советский Союз приехал на гастроли Бенни Гудмен — мировая величина джаза. Я был страшно рад, когда американское посольство прислало мне билеты на премьеру. На его концерты пробиться было невозможно. Представьте себе мое удивление, когда перед самым началом в правительственную ложу вошел Хрущев. Оказалось, что на приеме в Кремле американский посол предложил Хрущеву сходить на премьеру, и тот неожиданно для всех согласился. Через несколько дней на приеме в честь национального праздника США Хрущеву представили прославленного музыканта. Бенни Гудмен поблагодарил советского руководителя за посещение концерта и, как полагается в таких случаях, поинтересовался, понравилось ли представление. И тут Хрущев завелся и, распаляясь, стал говорить, что джаз — это не музыка, что народ ее не понимает. К чести Бенни Гудмена, он достойно выслушал этот гневный монолог, а затем вежливо возразил: «Господин Хрущев, но ведь известны случаи, когда и Чайковского не сразу принимали»,— напомнив о провале произведения Чайковского, которое ныне считают классикой. «Такого не может быть,— сказал Хрущев.— Если произведение хорошее, то народ его сразу понимает и принимает».

— Наверное, эта нетерпимость проявлялась и в международных делах?

— Да. В нелогичных, заведомо неисполнимых затеях. Сегодня мы говорим о том, что живем в многообразном, но взаимозависимом мире, что соответствует действительности. Но ведь наш мир всегда был таким. Другое дело, что в те времена мы чуть ли не линейкой делили мир на три части: на социалистические, капиталистические и неприсоединившиеся страны. Не сомневаясь в справедливости этой теории, Хрущев решил, что и в ООН должно быть три генеральных секретаря, каждый из которых представлял бы свой мир. Все прекрасно понимали, что подобная идея может загнать международные отношения в тупик, предварительно разрушив весь механизм работы ООН, но директива сверху уже пошла, и аппарат МИДа стал работать на обоснование этой теории.

— А вы присутствовали на знаменитой сессии Генеральной Ассамблеи ООН, когда Никита Сергеевич стучал по столу башмаком?

— Да. Что я могу сказать? Ему не терпелось, как он делал на многих внутренних совещаниях, перебить оратора, поспорить с ним. В ООН это сделать было сложнее, поскольку у столов, где находятся делегации, отсутствуют микрофоны. Но Хрущев все же бросал реплики со своего места. Когда он в очередной раз перебил премьер-министра Англии Макмиллана, тот, услышав шум и увидев Хрущева, сделал паузу, пережидая, пока Никита Сергеевич что-то выкрикнет, а потом в типично английской манере сказал: «Как бы я хотел, чтобы мне кто-нибудь это перевел».

— А вы находились рядом?

— Я сидел с советниками делегаций в амфитеатре и помочь ничем не мог. Даже Хрущева, который все больше и больше заводился, я видел со спины. В знак несогласия с очередным выступающим он принялся колотить по столу кулаком. У него была одна привычка — в минуты особого волнения он снимал с запястья часы и сжимал их в кулаке. Так что по столу в ООН Хрущев колотил своими часами. И вдруг в зале, как пишут в газетах, началось бурное оживление — кто-то смеялся, кто-то кричал. В общем, шум стоял невообразимый. Только вечером, когда телевидение через каждые полчаса передавало повтор этого эпизода с башмаком, я увидел вблизи все, что произошло. Кстати, сам Хрущев об этом случае нам рассказал в тот вечер так: «Вдруг вижу — часы остановились, и решил, чем ждать, пока еще что-нибудь сломаю, лучше сниму ботинок и ботинком». Рассказывал он с юмором, но был убежден, что поступил совершенно правильно.

— Вы знали, что Хрущев — человек импульсивный. Случалось ли так, что он своими поступками заставал вас врасплох?

— Я вспоминаю один случай, когда его поведение для меня было очень неожиданным. К Хрущеву в Пицунду прилетел генеральный секретарь ООН Хаммаршельд. После беседы Хрущев и Хаммаршельд вышли подышать свежим воздухом и спустились на пирс, продолжая обсуждать дела. У пирса стояла маленькая лодочка, на которой любил кататься Никита Сергеевич. Вдруг Хрущев влез в лодку, сел на весла, жестом предлагая Хаммаршельду присоединиться. Я подумал — беседа продолжится в лодке, и попытался забраться на маленькое носовое сиденье, но охрана меня остановила. Оказалось, что лодка была рассчитана вообще на одного пассажира, а с тремя седоками она бы просто пошла ко дну. Я остался на пирсе в полной беспомощности, а Хрущев и Хаммаршельд проплавали минут тридцать, видимо, не сказав друг другу ни одного слова.

— Скажите, а вы всегда переводили дословно? Как вы, например, поступали с Хрущевым, который любил употреблять крепкие выражения?

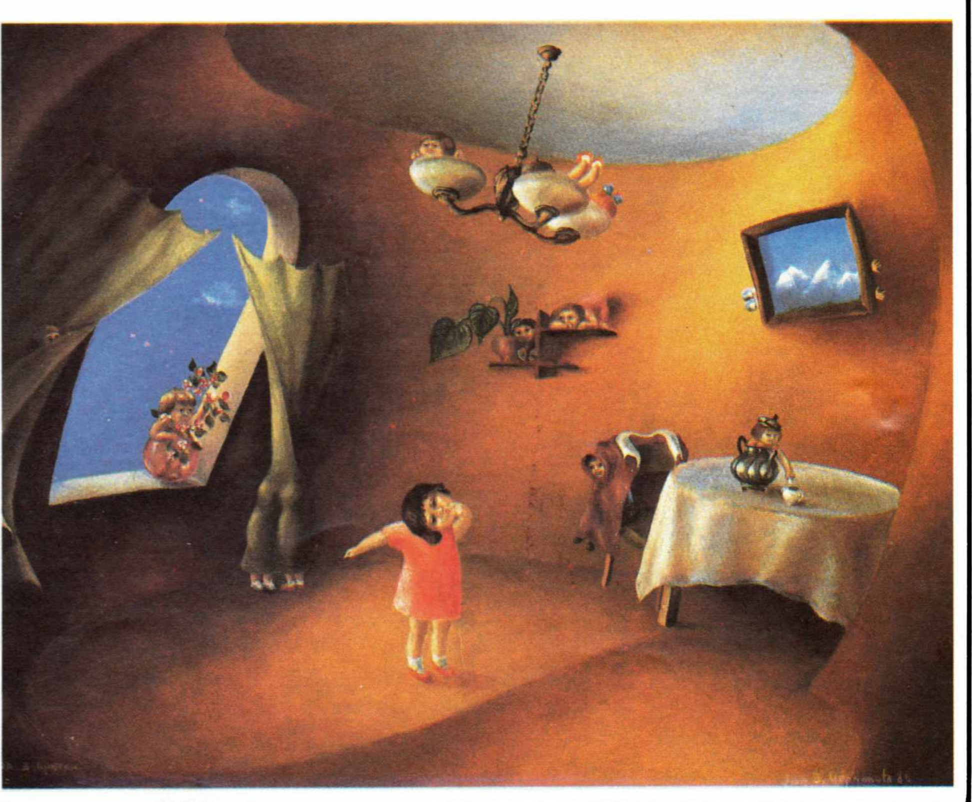
— Я как профессионал не должен ничего менять. Я переводил точно, а вот форма выражения целиком зависит от профессионализма переводчика. Что касается Хрущева, то разговор, как правило, проходил в чисто мужской компании, и его крепкие выражения вызывали к нему лишь симпатию. Все понимали, что перед ними не истукан, а живой человек, к тому же личность.

— Виктор Михайлович, и последний вопрос. А вы сами не пишете мемуаров?

— Нет. Наверное, это профессиональное чувство, что человек, допущенный до столь сокровенных тайн, не может их раскрывать. Но читать воспоминания других я люблю. Лишь бы их не писали с поправкой на сегодняшний день.

З. В. ЧЕРНАКОВА. Род. 1950. ЦИРК. 1987.

ПРЯТКИ. 1988.



Счастье Зои Черпаковой

Она работала токарем на заводе, плавала поваром на маленьком пароходике по Дальнему Востоку, ходила с геологами в пустыни и горы, доросла до тридцати, родила двух девочек и решила: буду художником! И стала.

Поступила в Абрамцевское училище. Занялась реставрацией и хорошо освоила это дело. По просьбе церкви написала десять икон, но больше заказов не брала. Я встретил ее впервые еще в Битце и купил пару ее работ, за «недорого». Походила она на тот рынок месяц-другой, ее открыли, и теперь все, что она ни напишет, покупают на корню и по хорошей цене. Теперь покупатель сам идет к ней. Видел я у нее и наших,

и финнов, и фээргэшников, и американцев. Увозят Зоины картины.

На вопросы Зоя отвечала так:

— Пишу прямо с натуры, ничего не выдумываю. Реалистка. Социалистический реализм? Это так же странно, как, к примеру, «реализм развивающихся стран», или «феодальный», или же «капиталистический реализм».

Если писать в полном внешнем соответствии с натурой, получится внутреннее несоответствие: мы же не только видим, но и чувствуем предмет. Все углы, которые торчат, выглядят для меня острыми. Эту дверь (она показала на дверь своей комнаты) я нарисую острой, как бритва, потому что все время бьюсь об нее. Потолок нарисую круглым, потому что это — небо, домашнее.

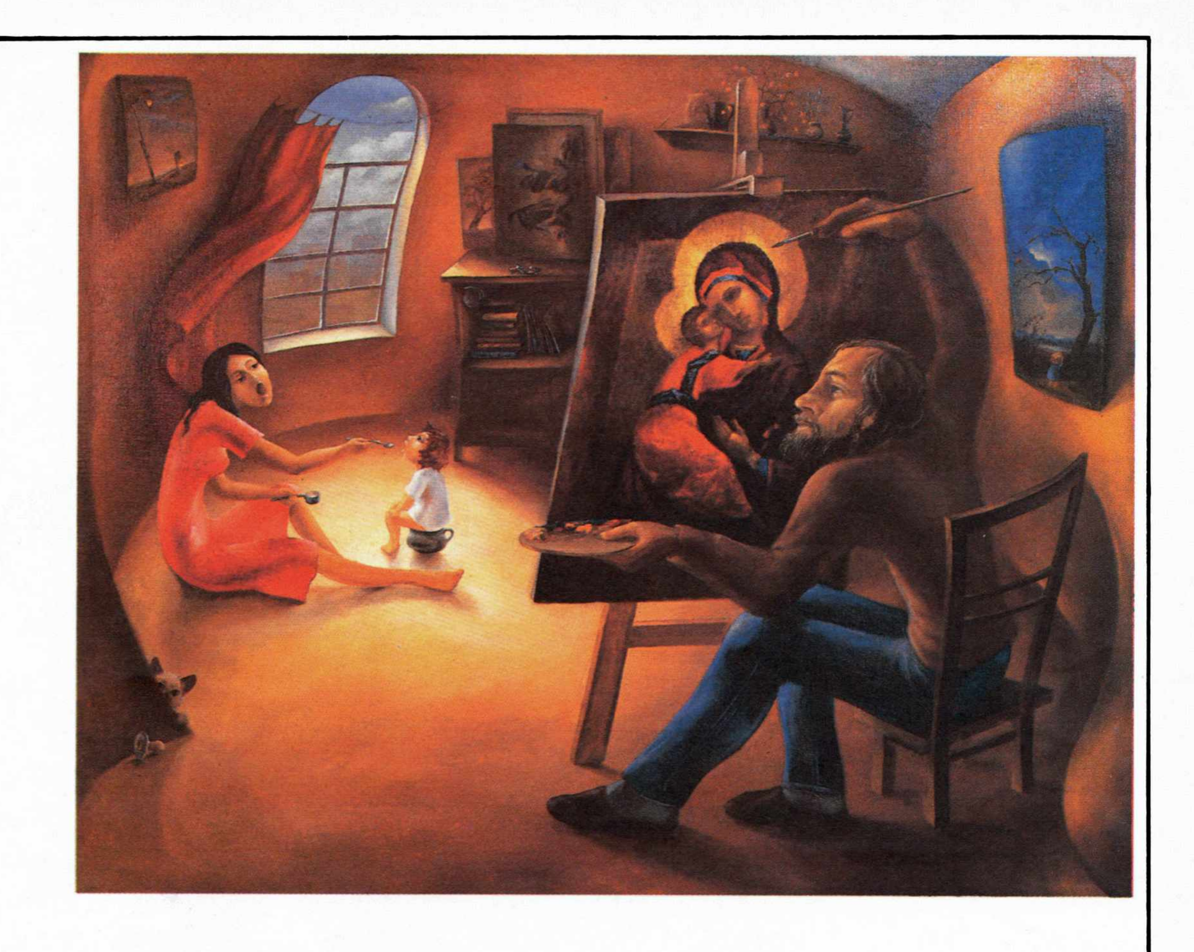
Когда я выставлялась на Малой Грузинской, отзывы были разными, от слов благодарности до — «Покажись психиатру!»

Я показалась. Пришла к психиатру и говорю, мол, так и так, осмотрите меня и посмотрите мои работы, народ просит. Психиатр согласился, пришел на выставку и написал в той же книге отзывов: «Чернакова — молодец!», а дальше имя и профессия.

Вы спрашиваете: есть ли счастье? Есть, конечно, и немало. Но не здесь, не сейчас и не со мной. Ко мне тоже приходит иногда. Внезапно, ни с того ни с сего...

За ними нельзя гоняться, за счастьем и удачей. Они, как ласточки, поймать-то поймал, да они здесь же и умерли. Это то, что должно приходить само. Бороться за счастье смешно — с кем?..

Тофик ШАХВЕРДИЕВ



МАСТЕРСКАЯ. 1987.

КАПРИЗНАЯ КРАСАВИЦА. 1986.

«ЯРЧЕ ЛЮБОЙ ЛЕГЕНДЫ» — ТАК НАЗЫВАЛАСЬ СТАТЬЯ О ЖИЗНИ ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА КОСМИЧЕСКИХ КОРАБЛЕЙ С. П. КОРОЛЕВА, ОПУБЛИКОВАННАЯ В № 49 «ОГОНЬКА» ЗА 1987 ГОД. СТАТЬЯ ВЫЗВАЛА ПОТОК САМЫХ РАЗНЫХ ОТЗЫВОВ: ОДНИ ВОСХИЩАЛИСЬ МАТЕРИАЛОМ, ОТКРЫВШИМ НОВЫЕ СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ УЧЕНОГО, ДРУГИЕ ОБВИНЯЛИ АВТОРА В ОШИБКАХ, НЕТОЧНОСТЯХ, НЕПРАВИЛЬНОЙ ТРАКТОВКЕ ФАКТОВ БИОГРАФИИ СЕРГЕЯ ПАВЛОВИЧА. ОСОБЕННО СИЛЬНЫЙ СПОР РАЗГОРЕЛСЯ ВОКРУГ ВСТРЕЧИ КОРОЛЕВА С ЦИОЛКОВСКИМ. БЫЛА ЛИ ОНА НА САМОМ ДЕЛЕ ИЛИ ЭТО ЛИШЬ «КРАСИВАЯ ЛЕГЕНДА»? МЫ ПУБЛИКУЕМ ПИСЬМО В «ОГОНЕК» ОБОЗРЕВАТЕЛЯ ТАСС АЛЕКСАНДРА РОМАНОВА И СТАТЬЮ ЖУРНАЛИСТА И ПИСАТЕЛЯ ЯРОСЛАВА ГОЛОВАНОВА, ПРИДЕРЖИВАЮЩИХСЯ ПРОТИВОПОЛОЖНЫХ ТОЧЕК ЗРЕНИЯ НА ЭТОТ ВОПРОС.

ЗАЧЕМ ЖЕ РАДИ ПРАВДЫ ТВОРИТЬ НЕПРАВДУ?

Не обижайся, товарищ «Огонек», мой старый друг, что вынес в заголовок письма тебе столь жесткие слова. Других не нашел.

Бесспорно, необходимо открывать «белые пятна». Но полагаться при этом «прежде всего на свой опыт и потенцию предвидения» в вопросах подлинной истории крайне недостаточно. И тем более когда речь идет о раскрытии сущности важнейших общественных явлений или жизнеописании людей, таких, как С. П. Королев, оставивший неизгладимый след в мировой науке и культуре.

Крайне огорчает, что статья «Ярче любой легенды» начинается, мягко говоря, с грубой фактической ошибки. В начальной колонке приводится утверждение английского историка Джеймса И. Оберга из журнала «Спэйсфлайт»: «Жизнь Королева на Украине, его занятия астронавтикой в Москве под руководством Туполева... хорошо задокументированы...» Но ведь школьнику известно, что прославленный конструктор самолетов АНТ и ТУ никогда не увлекался астронавтикой. Учителя Королева на пути к звездам — великий К. Э. Циолковский и его последователь Ф. А. Цандер.

Противоречит истине и то, что только на половине своего жизненного пути С. П. Королев увлекся астронавтикой. К тридцатым годам он уже успел принять участие в организации и руководстве Группой изучения реактивного движения (1931—1933 гг.) и первого в мире Реактивного научно-исследовательского института (1933—1938 гг.), разработать и построить несколько экспериментальных ракет, ракетоплан и т.д., заложить первые практические основы отечественного ракетостроения. Не соответствует документам и утверждение, будто Королев после ареста в 1938 году почти два года отбывал срок заключения в одиночной камере.

Вызывает недоумение двусмысленная фраза о культе личности. «...И только после XX съезда! Каким он (Королев) пришел? Это было огромное потрясение в его жизни...» Откуда пришел? С. П. Королев избирался делегатом XXI и XXII съездов, а не XX. Доклад Н. С. Хрущева «О культе личности и его последствиях» сделан 25 февраля 1956 года на закрытом заседании.

Но, главное, написать в «Огонек» меня побудила фальсификация истории приема С. П. Королева в ряды ленинской партии.

В «Огоньке» утверждается, будто на бюро Мытищинского горкома партии 10 апреля 1952 года коммунисты чуть было не отказали С. П. Королеву в приеме кандидатом в члены ВКП(б). Из сообщения секретаря парткома на бюро стало известно, что «...товарищ С. П. Королев в 1938 году был осужден как враг народа, судимость с него никто не снимал...» «Начались споры. Мнения разделились... Значительная часть членов бюро высказалась категорически против приема Королева кандидатом в члены партии...» Результаты голосования: из одиннадцати человек 6 — «за», 5 — «против». Перевес в один голос.

Ничего даже близкого к этому во время приема Главного конструктора в горкоме партии не было. Вот доказательство.

Вместе с доктором исторических наук К. И. Буковым, заместителем директора Института истории партии МГК и МК КПСС, изучаем протоколы (№ 59 от 10 апреля 1952 года и № 45 от 6 августа 1953 года) заседаний бюро Мытищинского горкома партии.

Их них явствует, что прием Королева в кандидаты, а затем в члены партии проходил в деловой, доброжелательной обстановке. В протоколах приведены краткие характеристики С. П. Королева. В них отмечено, что он «обеспечивает выполнение заданий правительства по конструированию (оборонной техники). В 1950 году окончил вечерний университет марксизма-ленинизма. Принимает участие в общественной жизни».

Протокольно-лаконичную характеристику расширяют и углубляют рекомендации коммунистов, дан-

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД ПОПЫТКАМИ ПРИУКРАСИТЬ ИСТОРИЮ

«Я думаю, что людям всего дороже истина, а не прекрасное заблуждение. Заблуждение не имеет цены».

К. Э. Циолковский



В ноябре 1963 года корреспондент ТАСС Александр Петрович Романов встретился с академиком Сергеем Павловичем Королевым и записал с его слов:

«Одно из ярких воспоминаний в моей жизни,— начал он (С. П. Королев.— **Я. Г.**),— это встреча с Константином Эдуардовичем Циолковским...— Глаза его потеплели.

...Шел 1929 год. Мне исполнилось тогда около 24. Вместе с друзьями мы в то время увлекались самолетостроением, разрабатывали небольшие собственные конструкции...»

Далее С. П. Королев рассказывает А. П. Романову о предыстории этой встречи и заключает: «Собственно говоря, после взволновавшей нас встречи с Циолковским мы с друзьями и начали активные действия и даже кое-какие практические опыты»,— имеются в виду работы по ракетной технике.

Прочитав написанное А. П. Романовым, Сергей Павлович, как признает сам Романов, «не дал своего согласия на публикование ее (беседы.— **Я. Г.**) в печати». Но подпись Королева на этом тексте есть.

Через несколько месяцев после смерти С. П. Королева А. П. Романов пытается опубликовать эту беседу, но это ему не удается, очевидно, по цензурным соображениям. Только через полтора года в связи с «круглой» датой — десятилетием со дня запуска первого искусственного спутника Земли — эта беседа была передана по каналам ТАСС и опубликована многими газетами. В этом, новом варианте она, как вы увидите, обогатилась многими интересными подробностями:

«Одно из ярчайших воспоминаний в моей жизни — встреча с Константином Эдуардовичем Циолковским. Шел мне тогда двадцать четвертый год. Было это в 1929 году. Приехали мы в Калугу утром. В деревянном доме, где в ту пору жил ученый, мы и увиделись с ним. Встретил нас высокого роста старик в темном костюме. Во время беседы он прикладывал к уху рупор из жести, но просил говорить не громко. Запомнились удивительно ясные глаза. Лицо его было изрезано крупными морщинами. Говорил он энергично, напористо.

Беседа была не длинной, но содержательной, минут за тридцать он изложил нам существо своих взглядов. Не ручаюсь за точность сказанного, но запомнилась одна фраза. Когда я с присущей молодости горячностью заявил, что отныне моя цель — пробиться к звездам, Циолковский улыбнулся: «Это очень трудное дело, молодой человек, поверьте мне, старику. Оно потребует знаний, настойчивости, воли и многих лет, может, целой жизни. Начните с того, что перечитайте все мои работы, которые вам необходимо знать на первых порах, прочитайте с карандашом в руках. Всегда готов помочь вам».

Константин Эдуардович потряс тогда нас своей верой в возможность космоплавания. Я ушел от него с одной мыслью — строить ракеты и летать на них».

Вскользь брошенная Сергеем Павловичем фраза о встрече обросла, как видите, массой неумело придуманных подробностей. Это и называется мифотворчеством,— этот текст Королев не читал и не визировал.

Однако точна или не точна запись А. П. Романова, не столь уж важно, потому что задолго до беседы с журналистом С. П. Королев сам, своей рукой, написал об этой встрече в Калуге. В анкете, заполненной им в марте 1952 года, Сергей Павлович отмечает: «С 1929 года, после знакомства с К. Э. Циолковским, стал заниматься специальной техникой». В автобиографии, написанной через три месяца, опять находим чуть подправленное, но вполне определенное: «С 1929 года, после знакомства с К. Э. Циолковским и его работами, начал заниматься вопросами специальной техники». Наконец, в заявлении, отправленном Королевым в Главную военную прокуратуру СССР с просьбой о реабилитации 30 мая 1955 года, вновь читаем: «Еще в 1929 году я познакомился с К. Э. Циолковским, и с тех пор я посвятил свою жизнь этой новой области науки и техники, имеющей огромное значение для нашей родины» (т. е. ракетной технике.— **Я. Г.**).

Итак, один из двух участников встречи подтверждает, что она состоялась в Калуге, поскольку в 1929 году Циолковский из Калуги никуда не уезжал. Впрочем, почему мы говорим о двух участниках? А если их было больше? Ведь если верить А. П. Романову, Королев говорил: «Приехали мы в Калугу, встретил нас.., изложил нам.., потряс нас...». Трудно поверить, чтобы о себе Сергей Павлович говорил в стиле императорских указов: «Мы, Николай II...». Значит, был еще кто-то. Кто? В нача-

ные ему при вступлении в кандидаты, а затем и в члены партии.

«Будучи чрезвычайно твердым в отстаивании и проведении в жизни своей линии, товарищ Королев,— пишет член партии с 1941 года Ю. А. Победоносцев, знающий Королева с 1929 года,— нередко встречал энергичный отпор и сопротивление. На этой почве у него иногда возникали конфликты с отдельными работниками и товарищами. Однако товарищ Королев всегда оставался последовательным и принципиальным в намеченном им решении того или иного вопроса».

В конце протокола № 59 от 10 апреля 1952 года обычное заключение: «Утвердить решение парторганизации... Принять тов. Королева С. П. кандидатом в члены ВКП(б), установив кандидатский стаж с марта 1952 года». В протоколе № 45 от 6 августа 1953 года значится: «Утвердить решение парторганизации. Принять тов. Королева С. П. в члены КПСС, установив партийный стаж с июля 1953 года».

Откуда же появилась эта несусветная драматизированная ложь? Да из воспоминаний ныне покойного С. И. Мосолова. Но в протоколах № 59 и № 45 поименно названы все участники заседаний бюро горкома партии — члены и кандидаты в члены бюро, заведующие отделами, их заместители, инструктора. Но имени «очевидца» С. И. Мосолова в протоколах не значится... Все выдумано, вплоть до числа голосовавших на бюро. 10 апреля 1952 года присутствовало 10 человек, а 6 августа 1953 года — 8. Откуда — 11? Правда, Е. А. Тумовский, что записал со слов Мосолова «достоверный факт», чтобы он «стал достоянием истории, биографии великого ученого», отмахнулся привычными словами: «За что купил, за то и продаю».

Ко всему сказанному выше добавим, что вопрос о возможности приема С. П. Королева в ряды Коммунистической партии предварительно рассматривался в высших партийных инстанциях и был решен положительно. На партийных собраниях коммунисты оказали С. П. Королеву полное доверие и приняли его в свои ряды.

Как известно, одна ложь порождает другую. Так произошло и на этот раз. В статье «Ярче любой легенды» встреча С. П. Королева с Циолковским в Калуге в 1929 году объявлена фантазией.

Между тем документы, написанные С. П. Королевым и хранящиеся в Институте истории партии МГК и МК КПСС, в архивах Академии наук СССР и Конструкторского бюро, где работал Главный конструктор с частными архивами, говорят другое. Вот один из них, относящийся к 1952—1953 годам.

«...С 1929 года, после знакомства с К. Э. Циолковским и его работами, начал заниматься вопросами специальной техники...» (18 июля 1952 г.).

О знаменательной встрече С. П. Королев напоминал в заявлении в Прокуратуру СССР с просьбой снять с него пятно незаконного осуждения. В кругу своих друзей и соратников, на заседании, посвященном пятидесятилетию (февраль 1957 г.), он говорил: «До того как я с ним познакомился (с Циолковским), я был поражен...» и т.д. В письме к академику Топчиеву есть строки: «Хочу когда-нибудь написать что-то очень хорошее о К. Э. Циолковском, тем более что я его и лично знал немного...» (октябрь 1962 г.). 12 декабря 1970 года, менее чем через пять лет после кончины С. П. Королева, когда еще были так свежи в памяти последние дни жизни Сергея Павловича, Н. И. Королева просмотрела и сделала замечания к тексту фотоочерка «Королев», опубликованного в «Огоньке» (№ 15, 1971 г.). У нее не вызвали ни малейшего сомнения слова Королева: «Встреча с великим калужанином сыграла решающую роль в направлении нашей деятельности». Она даже уточнила, откуда взята эта фраза.

Весьма важно отметить, что после, хотя и краткой, беседы с К. Э. Циолковским С. П. Королев, как никто другой из ракетчиков, на протяжении всей своей жизни проявлял исключительное внимание к своему учителю, его памяти. Сюда входят личные телеграммы Циолковскому и его дочери. Первая книга конструктора «Ракетный полет в стратосфере» послана в Калугу. Общеизвестно участие Королева в установлении творческих связей между теоретиком космонавтики и коллективами первых в стране ракетных организаций, в подготовке и проведении юбилейных торжеств, посвященных Циолковскому, переиздании его трудов. Нельзя забыть огромной помощи Королева калужскому мемориальному музею, строителям Музея истории космонавтики в Калуге, в установлении памятников в Калуге и Москве.

Нелепо и кощунственно звучит утверждение, что С. П. Королев якобы выдумал «легенду» о встрече с К. Э. Циолковским ради того, чтобы поднять свой авторитет в глазах коммунистов, решавших вопрос о приеме его в ряды партии. Выходит, С. П. Королев использовал имя своего учителя в своекорыстных целях и начал свой путь в КПСС с обмана.

Не слишком ли оскорбительно для памяти столь честного и принципиального человека, каким был С. П. Королев?

Да и не было необходимости С. П. Королеву прибегать к такому неблаговидному приему. Не повлияла бы на решение бюро Мытищинского горкома партии ссылка С. П. Королева на личное знакомство с Циолковским. Надежнейшей рекомендацией Главному конструктору в кандидаты, а затем и в члены партии стали к 1952—1953 годам его огромные заслуги перед государством.

В статье пишется, что Королев решил признаться в своей «фантазии» о знакомстве с К. Э. Циолковским якобы потому, что «фантазия» широко подхвачена, и это стало его беспокоить. Нелепо. Кем? Когда? Впервые факт о встрече учителя и ученика обнародован, предан широкой гласности в правительственном некрологе о смерти С. П. Королева 16 января 1966 года и в траурной речи заместителя Председателя Совета Министров СССР Л. В. Смирнова (18 января 1966 года). Между прочим, в составлении некролога участвовал М. К. Тихонравов, знавший Королева с 30-х годов и сам встречавшийся с калужским провидцем. Так что покойного Королева ничто уже не беспокоило. Беспокоило кого-то другого или других?

Гласность — это прежде всего правда, и не следует, одевшись в тогу правды, творить новую неправду.

Александр РОМАНОВ.

ле 70-х годов один свидетель отыскался. Им оказался Б. Г. Тетеркин — преподаватель Тульского политехнического института. В своем письме ко мне он сообщил, что встретился с Сергеем Павловичем во второй половине дня на одной из улиц Калуги в один из осенних дней 1929 года. Они вместе пришли к К. Э. Циолковскому и вместе ушли от него. Разговор, насколько помнит Тетеркин, в основном шел о планерах и возможности применения реактивных двигателей в авиации. Потом в ожидании поезда в Москву Королев зашел домой к Тетеркину: на улице было холодно. В сумерках Королев ушел.

Постепенно выяснилось, что и директору Государственного музея истории космонавтики в Калуге А. Т. Скрипнику С. П. Королев тоже рассказывал, как он приезжал к Циолковскому, но признавался, что плохо помнит эту встречу и ничего, кроме слуховой трубы и черного костюма на Константине Эдуардовиче, он не запомнил.

Прошло еще несколько лет, и вот оказывается, что не только Королев запомнил встречу с Циолковским, что объяснимо (студент приехал к знаменитому ученому), но и Циолковский запомнил Королева!

В 1982 году вышла книга Виктора Сытина «Человек из ночи». Сытин рассказывает в ней о своих встречах с Циолковским и Королевым в 30-х годах. Нет вроде бы оснований не доверять этим воспоминаниям, ведь Сытин — один из энтузиастов воздухоплавания, заместитель председателя Комитета по изучению стратосферы Осоавиахима, ставший потом писателем. Так вот, Виктор Александрович приводит такие слова, сказанные ему Константином Эдуардовичем в 1932 году: «Теперь приезжают те, кто практически работают над моими идеями. Были Тихонравов, Королев. Это из ГИРДа». Через два года, во время второй беседы Сытина с Циолковским, Константин Эдуардович просит его передать привет Тихонравову и Королеву. Вот насколько врезалась в память великого ученого встреча со студентом,— и через пять лет 77-летний Циолковский не может ее забыть!

Королев встречался с Циолковским. Но было это не в Калуге, а в Москве. И не в 1929-м, а в 1932 году, после торжественного вечера в честь 75-летия Константина Эдуардовича, когда председатель Осоавиахима Р. П. Эйдеман пригласил Циолковского в Центральный совет на Никольской улице. Был там и Королев. Что же касается поездки Сергея Павловича в Калугу, то даже беглое знакомство с приведенными свидетельствами настораживает: ведь сплошь и рядом концы с концами в этих рассказах не сходятся.

Начнем с того, что совершенно непонятно, когда такая встреча могла произойти. У Тетеркина сказано всего точнее: осень 1929 года, т. е. сентябрь — ноябрь. Но ведь известно, что именно в сентябре Сергей Павлович с невероятной энергией форсирует сборку своего планера «Коктебель», до позднего вечера ежедневно работает под навесом на Беговой улице. Известно, что именно в это время он усиленно тренируется под руководством Кошица на аэродроме, ждет не дождется, когда же доверят ему первый, несказанно желанный, самостоятельный полет. И совершает его накануне отъезда в Крым! Трудно поверить, что он мог все это бросить и уехать в Калугу.

В четверг, 24 сентября Королев приезжает в Феодосию. Далее — VI Всесоюзные планерные состязания. Они заканчиваются 23 октября. После их закрытия Королев плывет из Феодосии в Одессу, и только оттуда возвращается в Москву. Что он прежде всего делает? Получает «Пилотское свидетельство»; оно датировано 2 ноября. Теперь главное — дипломный проект в МВТУ, ведь в декабре он должен защищать диплом, времени совсем мало.

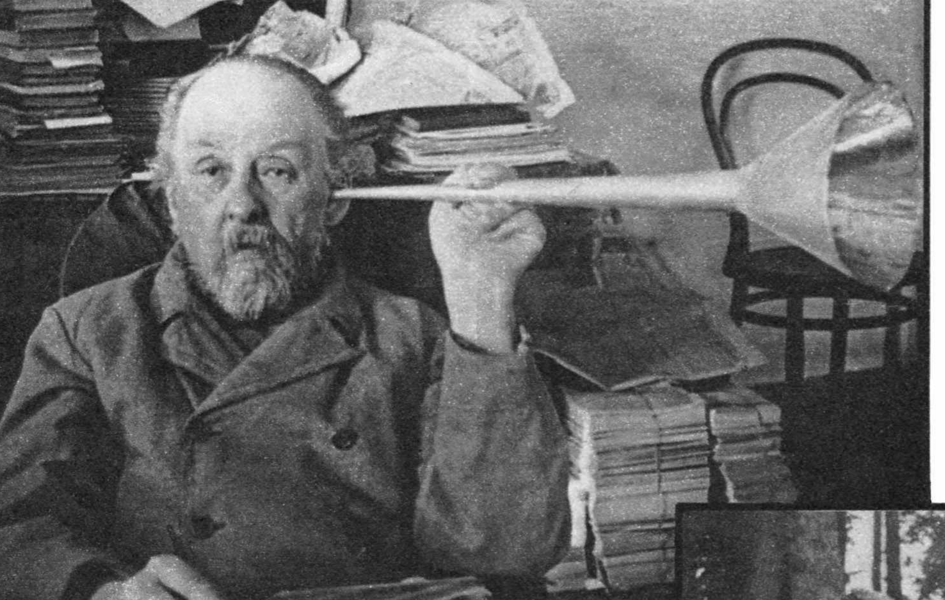
Получается, что Королеву просто некогда было ехать в Калугу. А главное, ему незачем было туда ехать! Ничто не указывает на то, что в 1929 году Королева увлекает ракетная техника; это увлечение придет позднее, в 1931 году. А «строить ракеты» сам Королев начнет лишь в РНИИ в 1934 году.

А сколько здесь еще несообразных деталей! Если «шел 1929 год», то почему Королев говорит, что ему тогда исполнилось «около 24»? Ему исполнилось не «около», а точно 22. У Романова Королев приехал в Калугу утром, у Тетеркина — во второй половине дня. Путаница не только со временем суток. Тетеркин пишет, что погода была плохая. Калужская метеостанция утверждает, что осенью 1929 года погода была на редкость теплая. Если под «мы» Королев подразумевал себя и Тетеркина, то почему «мы приехали»? Ведь Тетеркин жил в Калуге в родительском доме. А если Королев был с друзьями-москвичами, то почему (по Тетеркину) он отправился к Циолковскому без них? В записи А. П. Романова Циолковский говорил «энергично, напористо». Все известные нам звукозаписи говорят о том, что он разговаривал медленно, в плавной манере людей, страдающих глухотой. Даже такая мелочь, как черный костюм Циолковского, и та не подтверждается. В книге «Циолковский в воспоминаниях современников» никто не упоминает о черном костюме, всем запомнились простые рубашки, свободные блузы. Внук Циолковского, большой знаток быта семьи своего великого деда, писал мне, что «черного костюма Константин Эдуардович не имел, гостей принимал в сатиновой рубашке». Б. Г. Тетеркину запомнилось на Королеве черное кожаное пальто. Действительно, есть фотографии Сергея Павловича в таком пальто, но появилось оно не в 1929 году, а в 1932-м, когда Королев был уже начальником ГИРДа и пальто это ему «выдали». В этом пальто, кстати, и увезли его в тюрьму в 1938-м, а вернулся он в 1944-м уже без пальто...

И уж совсем не сходятся концы с концами в воспоминаниях В. А. Сытина. У Сытина Циолковский, вспоминая о визите к нему М. К. Тихонравова и С. П. Королева, уточняет: «Это — из ГИРДа». Но ГИРД — Группа изучения реактивного движения образовалась лишь в конце 1931-го — начале 1932 года, поэтому ни Тихонравов, ни Королев не могли, если они приезжали в 1929 году, быть «из ГИРДа». М. К. Тихонравов ездил в Калугу к К. Э. Циолковскому; это неоспоримый факт. Сытин утверждает, что его первый разговор с Циолковским происходил в 1932 году и даже уточняет: до юбилея Циолковского, т. е. до 17 сентября. Но в то время Циолковский никак не мог рассказать Сытину о визите Тихонравова! Судите сами. Вот что писал в своих воспоминаниях Михаил Клавдиевич Тихонравов: «Я очень благодарен И. Т. Клейменову за то, что он однажды пригласил меня поехать к К. Э. Циолковскому. Сам бы, может быть, и не поехал. Тогда мы все были молоды, работы было много, все были увлечены работой и Циолковского даже немножечко забыли. И. Т. Клейменов мне сказал: «Поедем к Циолковскому». И вот мы поехали в Калугу вдвоем... В Калуге остановились в Доме офицера, познакомились с Циолковским... У Циолковского мы пробыли целый день». И этот день точно известен: 17 февраля 1934 года. Таким образом, если Королев приезжал в Калугу в 1929 году, он был еще не из ГИРДа; если же речь идет о реальной поездке Тихонравова в 1934 году, он уже не из ГИРДа, так как в 1934 году ГИРД уже не существует. А главное, у Циолковского Тихонравов был не с Королевым, а с начальником РНИИ И. Т. Клейменовым, и случилось это через полтора года после описанной Сытиным беседы, а потому вспоминать о встрече 1934 года в 1932 году Циолковский никак не мог.

Немало странностей и в беседе В. А. Сытина с С. П. Королевым. В ней появляется новый вариант темы этой беседы. Циолковский уже не «излагал существо своих взглядов» (А. П. Романов), не говорил «о планерах, реактивном аэроплане, применении реактивных двигателей в авиации» (Б. Г. Тетеркин), а «делился своими планами» и дарил свои книжки.

Как же присутствующий при этом Б. Г. Тетеркин, запомнивший черное пальто, мог не запомнить такой интересной детали: Циолковский дарит приезжему студенту свои книжки?! Как сам С. П. Королев мог о таком символическом и дорогом для него подарке забыть и не рассказать об этих книжках А. П. Романову?! Но все дело в том, что в библиотеке С. П. Королева никогда не было и нет книг, подаренных К. Э. Циолковским. Имея такую реликвию, Сергей Павлович просто не мог бы хоть кому-нибудь ее не показать или хотя бы не рассказать о ней! Однако ни



К. Э. Циолковский.

Калуга. 1957 год. В парке К. Э. Циолковского М. С. Рязанский, М. К. Тихонравов, С. П. Королев, Н. И. Королева, К. И. Трунов.

Фото из архива Я. Голованова

близкие С. П. Королева, ни ближайшие товарищи по работе о таком подарке Циолковского никогда не слышали. Есть другие воспоминания. 23 мая 1964 года, чествуя своего заместителя К. Д. Бушуева в связи с его 50-летием, Сергей Павлович дарит ему «самое дорогое, что у меня есть»,— прижизненное издание книги К. Э. Циолковского «Космические ракетные поезда», но, разумеется, дарственной надписи Константина Эдуардовича на ней нет. Если даже прижизненное издание книжек Циолковского Королев ценил так высоко, как же могли исчезнуть подобные книжки с дарственной надписью автора, столь им почитаемого?!

С. П. Королев беседовал не только с А. П. Романовым, но и со многими другими журналистами. Никому и никогда не говорил он о поездке в Калугу в 1929 году. Например, корреспондент газеты «Красная звезда» Н. А. Мельников беседовал с Королевым в марте 1965 года. На вопрос журналиста о том, как зародилась идея построить ракетоплан, Сергей Павлович ответил, что идея эта захватила его, «особенно после знакомства с трудами Циолковского и близкого знакомства с Цандером».

Все мои попытки отыскать в Калуге следы встречи С. П. Королева и К. Э. Циолковского ни к чему не привели, если не считать мемориала, эту встречу удостоверяющего. Столь же безрезультатны и поиски историков. Сотрудница Государственного музея истории космонавтики в Калуге А. Н. Иванова пишет:

«Я много занималась вопросом «встречи С. П. Королева с К. Э. Циолковским», очень хотелось найти какие-то доказательства, но никаких документальных следов эта «встреча» не оставила». Ей вторит внук К. Э. Циолковского А. В. Костин, многие годы отдавший изучению жизни Константина Эдуардовича: «факт приезда Королева в 29 году к Константину Эдуардовичу вызывает сомнения».

Вторая жена Сергея Павловича, Нина Ивановна Королева, вспоминала: «Когда мы приехали в Калугу на закладку памятника К. Э. Циолковскому, мы, конечно, посетили и его домик. Не логично ли было бы именно в этот момент вспомнить, как он сюда приезжал в молодости? Но нет. Да и рассматривал Сергей Павлович домик так, как рассматривают люди впервые увиденное...»

Почему ни в одном своем публичном выступлении Королев никогда не вспоминает поездку в Калугу к Циолковскому, не намекает на свое знакомство с ним ни в одной газетной статье, не пишет об этой встрече в своей книге по ракетной технике? Почему в сентябре 1955 года на юбилейной сессии МВТУ имени Н. Э. Баумана Королев вспоминает Циолковского, но опять-таки не говорит, что он, студент-бауманец, был у него дома, беседовал с ним? Почему, наконец, дважды выступая с развернутыми докладами на торжественных юбилейных вечерах в честь К. Э. Циолковского в 1947 и 1957 годах, Сергей Павлович ни слова не сказал о калужской встрече с Константином Эдуардовичем, хотя трудно было бы найти для этого более подходящий повод?

Однако надо остановиться. Ведь утверждая, что Сергей Павлович не ездил к Циолковскому в 1929 году, мы изобличаем не только недобросовестных журналистов и мемуаристов. Утверждая это, мы тем самым как бы изобличаем самого Королева. Даже если допустить, что текст беседы с А. П. Романовым Сергей Павлович подписал, не читая (во что поверить невозможно, зная Королева), или, что в этом тексте он проглядел упоминание о «встрече» (что также очень маловероятно), существуют ведь еще три документа, где он сам, своей рукой, пишет, что встреча была! Тогда получается, что Королев писал неправду?

Увы, получается именно так.

Нина Ивановна Королева, жена Сергея Павловича, рассказывает:

— Однажды, в первых числах января 1966 года, Сергей Павлович вдруг сказал: «Должен тебе признаться, что я плохо помню старика Циолковского...» Эти его слова я запомнила дословно. У меня на языке крутилось тогда сказать ему: «А чего же ты врал?!», но я смягчила свой вопрос:

— Сережа, а что же ты так много неправды говорил?

— Я фантазировал...

Нина Ивановна объясняет причины, породившие эту «фантазию». По ее мнению, анкеты с упоминанием о «встрече» относятся ко времени, когда еще не реабилитированный Сергей Павлович подал заявление с просьбой принять его в партию.

Это объяснение разделяет и историк ракетной техники, большой знаток жизни и трудов С. П. Королева, доктор технических наук Г. С. Ветров. Он пишет: «При подготовке очередного варианта автобиографии в июне 1952 г. Королев, видимо, в связи с результатами голосования в райкоме, решил усилить ее содержание и написал: «С 1929 г. после знакомства с Циолковским и его работами...» Есть один существенный факт, подтверждающий стремление Королева вкладывать в эту фразу особый, возвышающий его смысл: такие же слова были написаны им в 1955 году в заявлении с просьбой о реабилитации.

Так авторитет Циолковского стал для Королева моральной и очень необходимой ему опорой. Поэтому неудивительно, что фраза о знакомстве с Циолковским и его работами прозвучала на партийном собрании в 1956 году при избрании Королева в состав парткома предприятия.

Подобное объяснение представляется во много раз более убедительным, чем все откровения А. П. Романова, Б. Г. Тетеркина, В. А. Сытина и др.

А впрочем, так ли уж важно, ездил Королев к Циолковскому в Калугу или не ездил, стоит ли посвящать выяснению подлинности этого факта столь подробный разбор? Всей жизнью своей доказал Королев верность делам и мечтам Циолковского, и не было на всей земле человека, который бы сделал больше для превращения в явь идей и грез Константина Эдуардовича. В этом высшая правда.

Да, конечно. Но тем не менее гипотетическая «калужская встреча» представляется все-таки достойной анализа. Во-первых, хочется знать правду; это нормальная человеческая потребность, которую все мы особенно остро стали ощущать в последнее время. Во-вторых, при любом решении вопроса — был или не был — мы получаем очень интересную информацию о самом Сергее Павловиче, новый сочный мазок на его портрете. В-третьих, борясь за правду, мы тем самым боремся против попыток упростить, перевести в плоскость привычных понятий сложную, объемную фигуру великого конструктора.

В биографиях великих людей очень часто можно встретить попытки «исправить» их образ, «выпрямить» характер, уйти от объяснений их странных, непонятных, а порой противоречащих общепринятому образу поступков. К сожалению, эти тенденции особенно проявились во времена безгласности, когда стремление к упрощенному канонизированию даже поощрялось. Канонизации был, в частности, подвергнут тот же К. Э. Циолковский.

Попыткам приукрашивания, позолоты, втискивания в «правильные», доступные примитивному пониманию рамки подвергалась и жизнь Сергея Павловича Королева.

Автор этих строк был едва ли не первым из журналистов, кто после смерти Сергея Павловича приехал к его матери Марии Николаевне. Многие часы шли наши беседы на даче в Барвихе. Ее рассказы о детстве сына были бесценны, поскольку круг людей, которые могли бы об этом что-то рассказать, за давностью лет сузился невероятно. Помню, мы сидели на террасе, и, кутаясь в шаль, Мария Николаевна рассказывала о том, как приезжала из Киева в Нежин к сыну, как сидели они вечерами в саду и она рассказывала ему сказки об Иване-царевиче, о Коньке-Горбунке, о...

— О ковре-самолете,— подсказал я.

— Да, да, конечно, о ковре-самолете,— закивала Мария Николаевна, и, я допускаю, совершенно искренно закивала, потому что вспомнила эту сказку. Ведь, согласитесь, ничего невероятного в том, что маленький Сережа услышал от мамы сказку о ковре-самолете, нет.

Но шли годы, и ковер-самолет все чаще и чаще стал прилетать в редакции наших газет и журналов. Уже забыты были и царевич, и Горбунок; ковер-самолет — это было «то, что нужно», лучшей сказки для Главного конструктора космических кораблей невозможно было придумать! Из рядового эпизода детства ковер-самолет превращался в веху биографии, в символ жизни. А давайте представим себе, что Сергей Павлович стал бы не великим конструктором, а великим, скажем, полководцем, прославил нашу страну замечательными ратными подвигами. Сколь обрадовал бы тогда биографов Королева рассказ Марии Николаевны о порубленных им в детстве сабелькой пионах на бабушкиной клумбе!

Думается, то же и с «калужской встречей» С. П. Королева и К. Э. Циолковского. Действительно, как бы здорово было, если бы Сергей Павлович съездил тогда в Калугу! Да он бы непременно съездил, если бы догадался, как украсит в будущем этот факт его биографию, какую замечательную символику обретет история нашей космонавтики! Обязательно бы съездил! Но что делать?.. Еще знаменитый английский естествоиспытатель Томас Гексли с улыбкой сетовал: «Великая трагедия науки — уничтожение прекрасной гипотезы безобразным фактом». Впрочем, здесь, пожалуй, другой вариант: «прекрасной гипотезе» как раз не хватает фактов. Но гипотеза имеет право жить в их ожидании. Поэтому отвергать гипотезу не следует. Но именно как гипотезу, не превращая ее в факт, пусть даже очень красивый, в мемориал, пусть даже очень желанный.

Ярослав ГОЛОВАНОВ

ФОТОКОНКУРС

Земля у нас одна

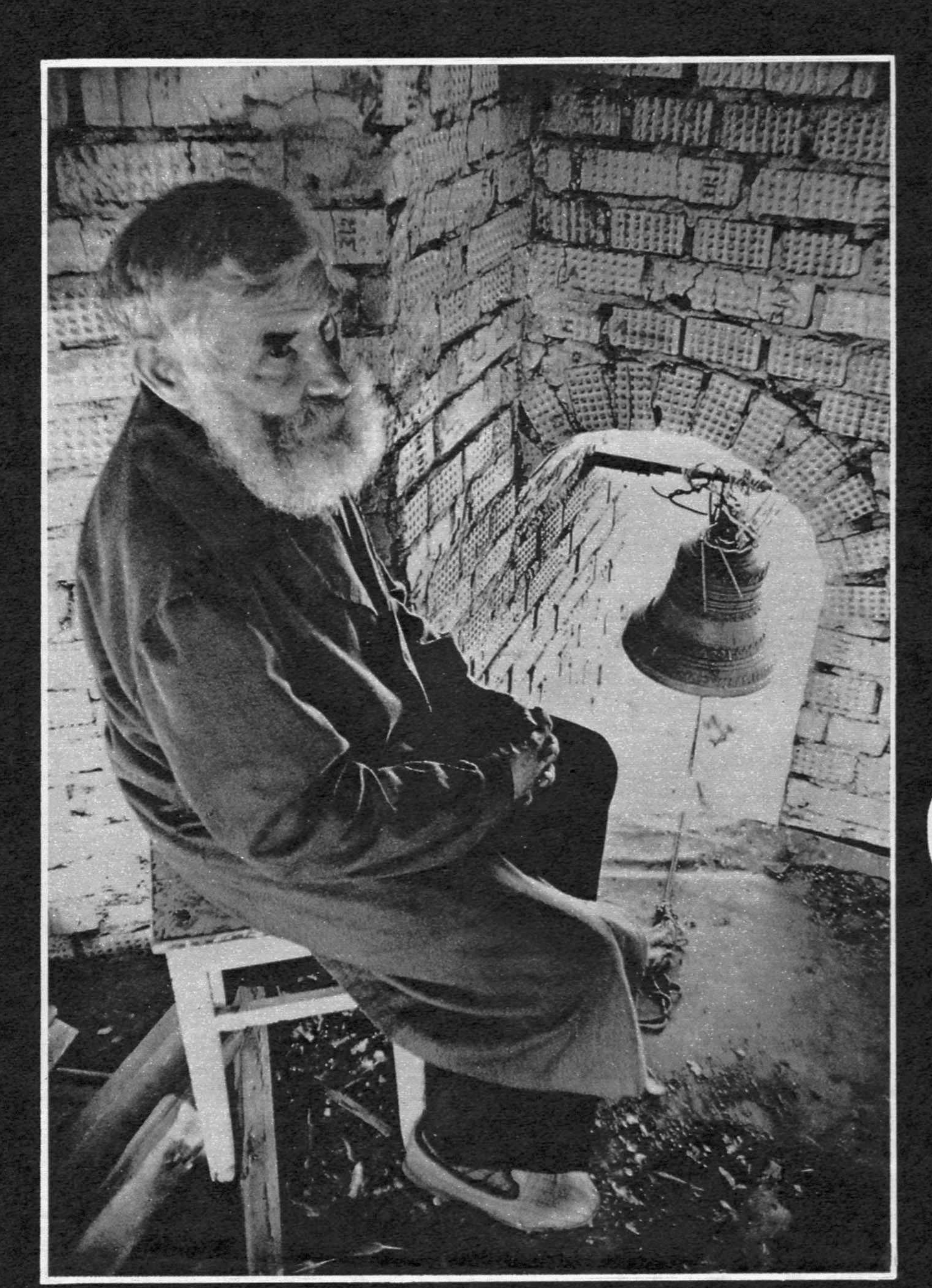
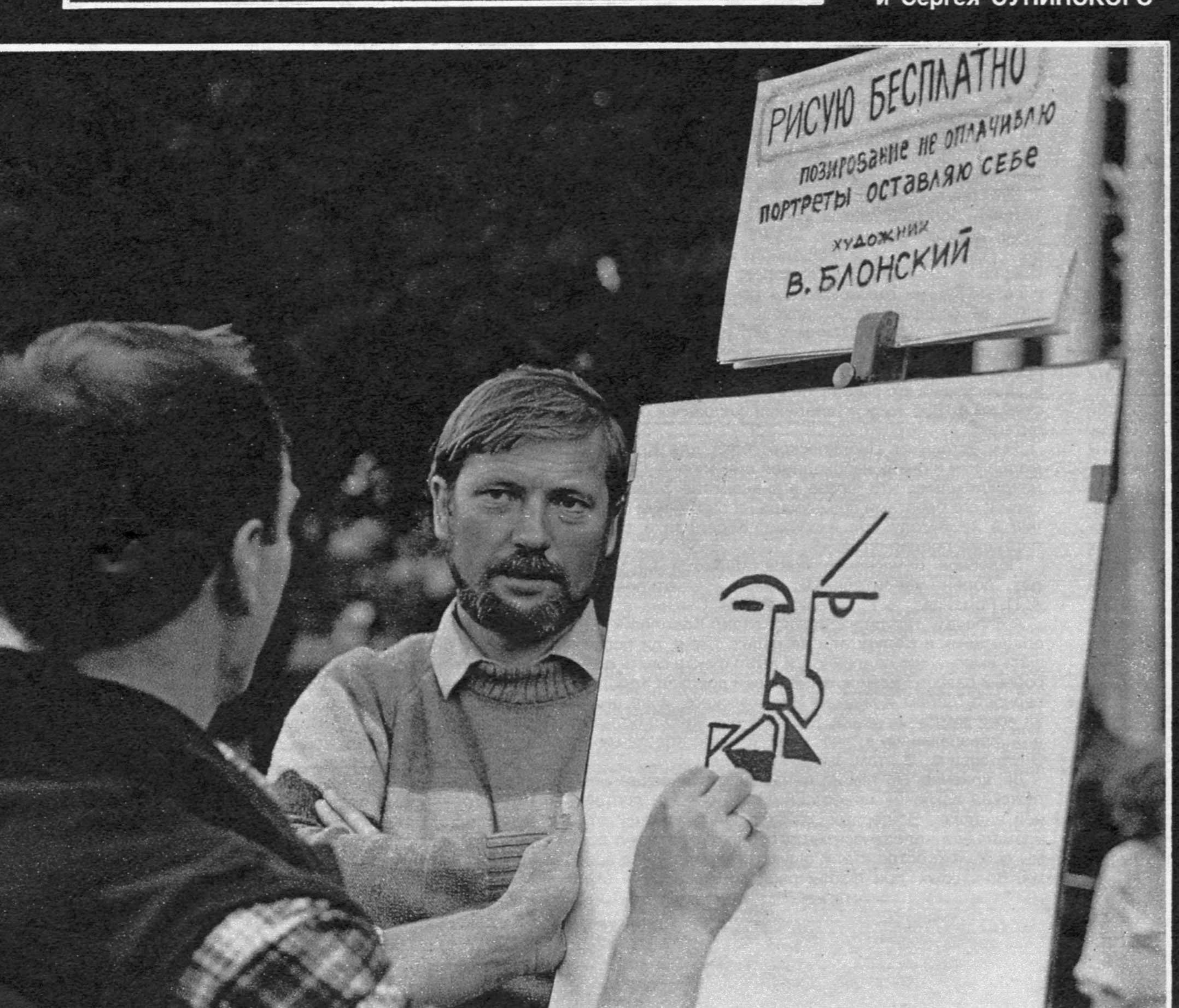


Фото
Евгения АКСЕНОВА,
Юрия КОРЕНЬКО
и Сергея СУПИНСКОГО



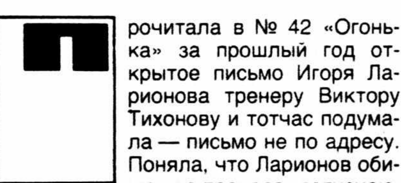




Много быстрых ярких лет я провела на фехтовальной дорожке, в той или иной степени изведала все коллизии, все капризы спортивной жизни, так что пишу о ней, можно сказать, «по принуждению судьбы», «по праву разделенного страдания». Точнее, разделяемого до сих пор. Скоро почти десять лет, как я «сложила оружие», сменив его на перо, но думы о нем «сложить» не могу, все пытаюсь понять высший смысл наших побед, перегрузок и поражений — во имя чего?

РАНЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Татьяна ЛЮБЕЦКАЯ



Прочитала в № 42 «Огонька» за прошлый год открытое письмо Игоря Ларионова тренеру Виктору Тихонову и тотчас подумала — письмо не по адресу. Поняла, что Ларионов обижен на тренера, допускаю, что достучаться до него было невозможно иначе, как через «Огонек». Не поняла только, в чем виноват Тихонов? По-моему, имена Ларионова и Тихонова легко можно заменить именами любого спортсмена и тренера какого угодно вида спорта, при этом письмо оставить нетронутым, и все сойдется. Ибо изложенное — это система, это жесткие неукоснительные правила нашего спорта. Скажем, автор письма рассказывает о перегрузках, о несправедливости: «...а не справляешься... убирайся на все четыре стороны». Но подобная перспектива всегда сторожит любого спортсмена сборной, ясно же, сборной нужны победители, то есть элементарно те, кто «справляется».

«Десять месяцев в году мы находимся в отрыве от дома... поездки... сборы... семейная жизнь по телефону». Можно еще сказать, по переписке, по памяти, но и эти «странности любви» придумал не Тихонов. Ведь тренер, как и игрок, лишь часть, самая яркая (но отнюдь не определяющая), гигантского механизма, именуемого «большой спорт».

И вот еще что задело в письме. «Главное — не потерять в мире престиж советского хоккея»,— убежден Ларионов. Да бог с ним, с этим престижем, есть вещи поважнее — здоровье советского народа, например. Но, кстати, и о престиже. Сейчас, когда у нас пир на весь мир — сколько олимпийского золота добыли наши в Сеуле! — самое время, по-моему, отключить фанфары и звонить во все колокола: какова же наша спортивная жизнь? Что будет дальше?! Ведь сеульская победа послужит дальнейшему наращиванию нагрузок во имя новых рекордов и побед.

...Конец 30-х годов, Германия. Шовинистический бум, свистопляска с высшей расой. Ее апофеоз — самым сильным человеком Земли становится любимец Гитлера — немец Мангер. Сталин призывает к себе богатыря из Армении — Серго Амбарцумяна. «Фашист не может быть самым сильным,— с расстановкой, которую еще усиливает акцент, говорит вождь,— его надо побить... Серго, ты сможешь?» Серго безумно счастлив от доверия товарища Сталина, товарищ Сталин поручает ему необычайно важное дело — побить самого сильного фашиста — и он обещает выполнить великое поручение.

В Армению посылают известного тренера, повара и массажиста. Но и с такой подмогой, вообразите, легко ли побить мировой рекорд профессионала, если учесть, что Серго Амбарцумян был совершенно неопытным любителем, никогда не участвовавшим не только в чемпионатах мира и Олимпийских играх, но и вообще в международных состязаниях. Впрочем, все это уже не имело значения — обещание вождю было дано, а это не такое обещание, которое можно было не выполнить. Да и кому, как не ему? Знавшие Амбарцумяна рассказывают: таких силачей, как он, не было ни до, ни после него. И вот уже все наши газеты украшены броскими заголовками: «Серго Амбарцумян выполнил обещание, данное товарищу Сталину!» То был один из первых наших международных спортивных триумфов средь необозримой череды последующих, призванных показать (доказать, подтвердить) величие нашей страны, торжество нашего строя.

Ну, а если бы Серго Амбарцумян не побил тот рекорд? Ну, там заболел бы, простудился (кстати, в то время его часто мучили ангины) или просто не осилил бы «железо» Мангера — что же, наша система, наш образ жизни именно от этого стали бы хуже? А фашистский режим доказал бы свое преимущество?!

Сейчас в мире много первоклассных темнокожих бегунов из развивающихся стран. Эфиопия, можно сказать, страна марафонцев. Но значит ли это, что уровень жизни эфиопов самый высокий в мире?

«Как вы относитесь к таким понятиям, как долг перед страной, победа ради народа?..» — обращается ведущий «круглого стола» в газете к чемпионам. И известный спортсмен в тон ему отвечает: «Я считал и считаю себя патриотом, долг мой быть верным своей стране и побеждать»... А тот, кто проиграл, стало быть, уже не патриот, «неверный»?

Известный хоккейный тренер Тарасов всерьез утверждает с телеэкрана, что хоккей никакая вовсе не игра, а «подлинное сражение», хотя, по-моему, высшее назначение спорта как раз в том и заключается, чтобы стать заменителем подлинных сражений, воплотив в себе мечту человечества навсегда избавиться от войн, сохранив при этом радость, азарт борьбы, состязания. Зачем же эти опасные ассоциации (кстати, щедро питающие свирепость «фанатов»)? Ведь сравнение с войной и наводит как раз на мысль о войне, будит агрессию и враждебность, что, как известно, в хоккее не редкость. Не плод ли это воинственных тренерских установок? И смешно, и неловко глядеть, право, как, выйдя на игровую площадку, взрослые дяди всерьез тузят друг друга, а победив — цена все того же преувеличения,— столь же исступленно, пылко целуются. Будто и вправду победили в сражении, вернулись с войны.

А ведь изначально игра все же зовет играть, передумывать друг друга — понимать, и человек, отдающий себя тому же делу, что и ты, всегда по духу особенно близок тебе. К тому же в спорте ты предельно искренен, быть может, как нигде больше, остаешься самим собой. В этом смысле трудно переоценить международные состязания — как прекрасную арену откровенных дружеских встреч людей разных стран. И лишь в этом смысле их следует почитать государственно важными.

Только не надо преувеличивать и взваливать на игры задачи, которые следует решать отнюдь не на спортивных полях.

Кто-то когда-то решил, что если мы хотим показать всем, что наш образ жизни самый лучший, самый передовой, то нагляднее всего это продемонстрируют чемпионы: раз наш спортсмен выше, быстрей, сильней всех, то и все мы, стало быть, «лучшие». Разумеется, легче подготовить «отдельных здоровяков» сборной, чем поднять весь этот огромный воз массовой физкультуры, который у нас далеко не на высоте.

Выходит, большой спорт — большая потемкинская деревня?

Вообще-то принято считать, что спорт наш делится на большой, то есть спорт рекордов и чемпионов, и массовый, который следовало бы почитать «самым большим», ведь именно его цель — здоровье населения, построение гармонически развитой личности.

Но большому спорту у нас отдано все лучшее — стадионы, корты, катки. «Самому большому» — самые большие обещания о тех же стадионах, кортах и катках, а также раздражающие, заливистые лозунги о невероятной пользе физкультуры, за которыми не кроется ничего, кроме других лозунгов.

Всегда ли у нас было подобное отношение к спорту?

«Для нас физкультура не может ограничиться гимнастикой и спортом,— писал в 30-м году в книге «Мысли о спорте» Луначарский.— Она дожна быть поставлена как совокупность вопросов о достижении максимального здоровья масс. Не надо, чтобы кто-нибудь из наших товарищей сделался знаменитым чемпионом... (разрядка моя.— **Т. Л.**). Но очень хорошо, если... без всякого членовредительства и чрезмерных зуботычин первоклассного мирового масштаба многие из наших товарищей из рабочей и студенческой молодежи получат соответствующую школу».

Вообще в то время печать страстно негодовала по поводу «буржуазной рекордомании и страсти к чемпионству». Нужны или не нужны нашему обществу чемпионы — вот вопрос из вопросов тех лет.

«Эта всеобщая погоня за рекордами отражается в целых полосах газет,— пишет Луначарский в главе «На Западе»,— ...причем наиболее крупные рекорды пользуются такой громадной известностью и чемпионы окружаются такой непомерной славой, которая почти заслоняет собой славу писателей, ученых, художников, политических деятелей и т. д.».

Не правда ли, читатель, какие знакомые слова? Хоть прочитаны, возможно, впервые, но продуманы наверняка не раз. И если «почти» в них заменить на «вполне» и вообразить, что сказанное относится не к Западу, а к нам и не прежде, а теперь — то один к одному сходится. Вот какой поистине гигантский скачок — с момента своего возникновения и до нынешних дней — сделал наш спорт: от «не надо, чтобы кто-нибудь из наших товарищей...» до «наши только первые!». От всеобъемлющей любви к массовому спорту до «безумной» страсти к чемпионам. Что это, превратности любви или чего-то другого?

Окончательный поворот в пользу большого спорта произошел у нас в связи с вступлением в международное олимпийское движение. И так крут был этот поворот, что многое, а верней как раз то, ради чего когда-то обратились к спорту — оздоровление,— было упущено...

Большой спорт... Отразились ли так называемые застойные годы на нем?

Словом, возможно ли, чтобы упадок общества сказался в одних сферах и миновал другие? Кто-то, вероятно, решит, что тут самое время сказать: «Такова спортивная жизнь». Ибо фраза эта как раз для того и существует, чтобы развести руками, пожать плечами, подчеркнув тем самым причудливость и этакую элитарность большого спорта. Мол, кое-где, конечно, может быть, и застой, а в спорте ясно же — сплошное движение — быстрее, дальше, выше! Но, думаю, хотя спорт и является у нас государством в государстве, однако при этом типичное, взлелеянное дитя державы. И не только отражает все наши ошибки и перекосы, но, если угодно, кичливо выставляет их напоказ. Мне скажут, недостатки есть везде. И, увы, будут правы. Но в спорте они особенно раздражающи, оскорбительны, ибо тут «забираются на пьедестал».

Рискну сказать, что в известной степени спорт за минувшие годы стал у нас образцом двумыслия, демагогии и лжи. Если, допустим, газеты, телевидение представляют нам нового чемпиона, то «картинка» непременно сопровождается интеллектуальной аранжировкой: работает, учится, поступил в аспирантуру... Сказать просто «учится» — это уже вроде как дурной тон, ныне чемпион не чемпион, если не «работает над диссертацией». При этом он, конечно, «увлекается чтением книг», вариант: классической музыкой. Но вся эта «музыка» насквозь фальшива. Потому что не может чемпион, пока выступает, нигде по-настоящему учиться — только числится. И увлекаться чем-либо, кроме спорта, тоже не может, ибо ему приходится трудиться для спортивных побед с утра и до вечера.

Откуда же взялась эта шитая белыми нитками ложь, эта интеллектуальная косметика для спортсменов? Все оттуда же — из потемкинской деревни. Раз мы вознамерились именно через спорт явить миру торжество нашего образа жизни, значит, ни в коем случае не должно звучать, что мы — «профессионалы», то есть ничем другим не занимающиеся — не учащиеся и не работающие,— кроме как тренировками и соревнованиями. Иначе «деревня» просто будет неубедительна. А так выходит, что мы от одного лишь здоровья и радости жизни берем любые спортивные верхи.

Кстати, расхожее мнение насчет «сладкой жизни» звезды верно лишь наполовину: да, конечно, льготы и поблажки, словом, режим полного благоприятствования, пока ты выступаешь,— только выигрывай! Но одна лишь проблема нашего перехода из замкнутости большого спорта к жизни «в миру», когда ты разом лишаешься всех спортивных привилегий, а другой опорой — образованием, умением ориентироваться в обычной жизни, как правило, не наделен, может стоить тебе всех фанфар и медалей. И больно мне слышать о забубенных историях «бывших», о том, как они, некогда могучие, непобедимые, теперь поверженные, потерянные и больные, подчас влачат свое горькое, безутешное существование...

Да, конечно, не все наши звезды бесславно гаснут, есть и вполне благополучные. Я даже готова узнать, что их большинство (если этим вопросом вдруг заинтересуется статистика). Но наличие благополучных не может ведь снять боль за неприкаянных!

Отчего же мы так отчаянно, так судорожно держимся за спорт даже тогда, когда он не сулит ничего, кроме обид и поражений?

Пока выступаешь, пока еще в силе, ты, конечно, знаешь, что где-то там, в туманном далеке, тебе придется из спорта уйти. Но будущее это кажется таким призрачным и знание о нем покоится в столь дальних закоулках твоего «я», что о «закате» ты как бы не ведаешь. Вознесенный над всеми квадратик этот — пьедестал — до смешного мал, до слез притягателен и страшно неустойчив. Впрочем, как ни трудно устоять, а сойти подчас и вовсе не под силу — проще падать. Всерьез об этом даже думать страшно. «Хоть немного еще постою на краю...»

Недавно известная наша лыжница Раиса Сметанина, выступающая за сборную уже 16 (!) лет — космический срок для спортсмена,— на вопрос, чем будет заниматься после ухода из спорта (ТВ, встреча с победителями и призерами зимних Олимпийских игр), ответила без затей: «Не знаю». «И не задумывались?» — допытывался корреспондент. «Нет, не задумывалась...»

Столь легковесный на первый взгляд ответ, по-моему, делает честь знаменитой спортсменке своей откровенностью, не приправленной обычной для спорта ложью о диссертациях и прочими выдумками.

Спору нет, можно, конечно, сделать вид, что ты всерьез задумался, свести к переносице брови, даже сесть в позу «Мыслителя», но даст ли это что-нибудь?

В чем же опасность, а порой и невозможность «спуска»?

Только что ты был выше всех и волны людского восхищения бурлили вокруг. Но вот соперник сбросил тебя с пьедестала, и вокруг наступила тишина. Где-то рядом другие без оглядки мчатся вперед, но ты уже никак не можешь вдеть ногу в стремя. И тогда самым отчетливым становится ощущение: не нужен. Никому. Твои сверстники, как правило, не задумываются над своей нужностью людям, в юности ведь главное то, что весь мир нужен тебе. А ты, выпавший из большого спорта, как птенец из гнезда, слишком обостренно ощущаешь теперь гулкость пустоты и безразличия. И настает не жизнь — маета... Вопросы, испокон веков тревожащие человечество — кто виноват? кем быть? что делать? — встают перед тобой с тем большей остротой, что прежде ты не привык не только искать ответы на них, но даже знать о них.

Всю жизнь, сколько себя помню, только и слышу бравый лозунг «В здоровом теле — здоровый дух», якобы дружески посланный нам из глубины столетий древними.

К этой фразе я подбираюсь не первый раз, пытаясь вывести ее на чистую воду и восстановить истину. Но, несмотря на мои «разоблачения», она все гуляет по свету, вводя в заблуждение легковерных и раздражая остальных. Этой ссылкой на древних как бы заранее сметается любое осуждение нравов спортивной жизни, а заодно и выдается индульгенция на все времена вперед. Древних ведь не очень-то покритикуешь, они спасаются от нашей критики броней афористичности и давностью времен. Мы привыкли многое валить на них в надежде, что они как-нибудь там распутают не поддающиеся нам узлы наших противоречий. Словно им нас видней, чем нам самим. Хотя, допустим, сколь ни провозглашай сакраментальную фразу о здоровом теле и духе, а ассоциировать спортсмена с одухотворенной личностью — в наше время — все же не принято. Единственные, по-моему, кто попадается на удочку этой заповеди,— сами спортсмены. В конце концов человек ведь способен воспользоваться лишь той степенью самопознания, какую может себе вообразить.

Фраза: «В здоровом теле — здоровый дух» — не изречение вовсе, а лишь обрывок его, невесть когда отколовшийся и заживший собственной жизнью. Целиком же строка X сатиры Ювенала в переводе с латинского выглядит так: «Надо молить (то есть желательно!), чтобы в здоровом теле был здоровый дух». Выходит, смысл строки прямо противоположен смыслу обрывка?

Но каково же было мое изумление, когда, открыв словарь латинских крылатых слов, я прочла полностью приведенную строку древнеримского поэта и вот что о ней: «Стих направлен против одностороннего увлечения телесными упражнениями...»

«Что ты все о духовности печешься,— то ли с раздражением, то ли с укором сказал мне как-то известный спортивный журналист,— им бы после «ухода» кусок хлеба иметь». Нет, не обойтись бывшему спортсмену «хлебом единым» хотя бы уже потому, что от уровня духовных обретений зависит и сама возможность добывания хлеба, выбор его способов. Бездуховность — родная сестра, нет, мать безнравственности. Не потому ли мы теперь все чаще слышим о нарушителях в спорте, о торговле победами и голами и о срывах звезд в послеспортивной их неприкаянности? Кто-то захочет прочесть тут имена... Да, конечно, выводить на чистую воду нарушителей — дело благородное, но одним этим уже не обойтись. По-моему, называть лишь имена «заблудших» — значит нивелировать проблему бездуховности спорта, закрывать на нее глаза. Значит, как и прежде, идти по пути убаюкивания читателя: есть, дескать, у нас кое-какие упущения, некоторые нехорошие спортсмены, «а в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хо-ро-шо!». Но сколько же можно, подменяя причину следствием, уповать на доверчивость «маркизы»? И так ли уж она доверчива?

Впрочем, сколь ни рассуждай, а сделать «спуск» плавным и сам спорт более одухотворенным уже невозможно. Его нагрузки — вслед за вершинами — все возрастают, и просветы между ними становятся все уже, все призрачней. Как и саму жизнь, спорт не повернешь вспять и не остановишь. А потому острые, волнующие вопросы начала века — нужны ли чемпионы? нужны ли рекорды? — уже не актуальны. Но вот обсуждать, сколько их нужно и какие, быть может, еще не поздно.

Да, конечно, большой спорт — это один из самых милых человечеству символов прогресса, и спортсмен — вдохновляющий пример для многих людей. Но примеры не нужны ведь в столь массовых количествах! Зачем обществу столько второстепенных, третьеразрядных команд, на полном, так сказать, довольствии бредущих в никуда? Ведь это целая армия отставших в духовном образовании от своих сверстников молодых людей, так или иначе размывающая духовную силу поколения.

Но, быть может, духовная нищета спортивной жизни компенсируется у спортсменов здоровьем? Нет, не компенсируется. Помните телемонолог Юрия Власова, из которого можно заключить, что если знаменитый чемпион и приобрел в спорте что-либо, кроме побед и поражений, то уж, во всяком случае, не здоровье.

Таких признаний можно было бы привести множество, но зачем? Не каждый же захочет обнажать свои раны перед миллионами...

Итак, большой спорт не только не содействует укреплению здоровья (перегрузки физические и психические, постоянный риск травм), но напротив — разрушает. Казалось бы, зачем об этом писать (знаю много противников такой гласности) и омрачать радость от добытых побед, раз уж кто-то все равно должен двигать вперед этот необратимый и «неуемный» спорт, все дальше уходя за пределы возможного? А затем, чтобы тот, кто еще только отправляется в эту головокружительную скачку за победами, знал по крайней мере их настоящую цену, полностью отдавал себе отчет в том, что ждет его впереди, и не оказывался в конце дистанции у разбитого корыта. Тогда кто-нибудь, быть может, и задумается: а нужны ли ему победы такой ценой? Допустим, если бы я с самого начала знала обо всех потерях, что подстерегали меня в спортивном плену, я все равно пришла бы на фехтовальную дорожку, только укоротила бы ее по крайней мере вдвое, чтобы хотя бы пораньше начать работать по специальности, а не числиться так безнадежно долго в «профессиональных любителях». Ибо, как уже говорилось, до недавних пор нас, получавших за спортивный труд зарплату (стипендию), двусмысленно именовали любителями, а теперь вдруг громко назвали профессионалами и от такой смелости пришли в восторг, хотя я лично в подобной легализации большого прогресса не вижу.

Опьяненный дозволением говорить вслух, уважаемый академик пишет в газету, что спортсмен — это такая же профессия, как и все другие. Как профессия ученого, например. Но, по-моему, спорт не может, не должен быть вполне профессией, он только очень похож на профессию. Как работа-времянка.

Лейб-медик Наполеона уверял, что раны победителей заживают быстрее. Возможно. Если только это не раны души. Если вообще заживают. Мне же ближе фраза Владимира Тендрякова: «Нет более уязвимых людей, чем победители»...

КОММУНАЛЬНЫЙ КОНФЛИКТ



Геннадий ПОПОВ

Коммунальная квартира была обыкновенной коммунальной квартирой. И не стоило бы о ней упоминать, если бы не ее жильцы. Вернее, двое из них. Дело в том, что одну из комнат занимал резидент иностранной разведки Карл Паулевич Шпиономейгер. Но это еще куда ни шло, ну резидент, резиденту тоже где-то жить нужно. Обстановка накалилась из-за того, что в соседней комнате с резидентом жил наш разведчик Петр Петрович Петров. Его не специально подселили к резиденту для выполнения особо важного задания, просто — сами знаете, как у нас с квартирами,— райисполком мог предоставить ему жилплощадь только в этой квартире. И жизнь у Петра Петровича от такого соседства была просто невыносимой. Ему казалось, что он не живет, а несет круглосуточное дежурство. Все у него перепуталось: где работа, где дом. Он и в райисполком обращался, к председателю, а тот только руками разводит, меняйтесь, мол. А как тут поменяешься? Если и найдется кто желающий, так сразу, как узнает, что в одной квартире с резидентом жить придется, так ни в какую. Старые-то жильцы уж привыкли к резиденту, вроде бы и ничего, своим стал, а новые ни в какую.



В ДЭЗе тоже ничем помочь не могут. «Он что, пьет, дебоширит? — интересуется начальник ДЭЗа. (А резидент, как назло, попался непьющий и спокойный.) — Вы понаблюдайте, может, он ведет аморальный образ жизни? Так мы его быстро по общественной линии одернем. В крайнем случае доведем дело до товарищеского суда и сообщим по месту работы». А Петр Петрович с резидентом не один год в одной квартире прожил и прекрасно знает, что у того в той стране, откуда его заслали, семья — жена и двое детей, и он их очень любит. Другой бы на его месте радовался бы, что вырвался из семьи на свободу, пошпионил бы, да и в ресторан, с девочками. То-се, пятое-десятое, мало ли что может себе позволить свободный мужчина, тем более шпион. А этот ни-ни, сразу же после выполнения очередного задания — домой, сядет в кресло и смотрит на семейную фотографию, грустно так смотрит. А Петр Петрович видит это, и слезы у него от умиления капают прямо в замочную скважину.

Петр Петрович и к начальству своему непосредственному не раз обращался с просьбой о предоставлении ему служебной площади. «Нет,— говорит начальство,— у нас свободной служебной площади. А то, что ты с ним в одной квартире живешь, так это даже хорошо, он у нас все время в поле зрения. И тебе, чтобы за ним следить, даже времени на дорогу в общественном транспорте тратить не нужно». «А может, возьмем его, и комната освободится»,— горячится Петр Петрович. «Рано,— успокаивает его начальство,— не пришло еще время».

Так вот и мучился Петр Петрович. Ни на работе, ни дома покоя нет. Кругом одни шпионы. Правда, ругались они с Карлом Паулевичем редко и то по пустякам.

Один раз, правда, чуть до рукоприкладства дело не дошло. Устроил ему Шпиономейгер засаду в ванной. «Убью гада»,— вспылил Петр Петрович. «Да не волнуйтесь вы, бога ради,— успокоил его Карл Паулевич,— мы же с вами профессионалы. Что о нас соседи подумают». «А зачем вы мне засаду дома устраиваете? Что, места больше нет?» «Честно говоря,— оправдывается Карл Паулевич,— выходить на улицу лень было. А тут, знаете, вы под боком». «А-а, ладно,— машет рукой Петр Петрович.— Нервы стали ни к черту».

Иногда случались и временные перемирия. Вернется, бывало, Петр Петрович живым после продолжительного выполнения особо важного задания, а дома его Карл Паулевич встречает. «Устали,— говорит,— Петр Петрович? Чайку не хотите?» Сядут на кухне и пьют чаек. Соседи по квартире в это время на них не налюбуются. «Вот она,— говорят,— разрядка». А Петр Петрович с Карлом Паулевичем вполголоса разговаривают. «Хороший чаек у вас,— хвалит Петр Петрович,— мышьяка только вы, по-моему, явно переложили». «А что делать? — соглашается Карл Паулевич.— С сахаром-то, сами знаете, перебои в вашем снабжении». «Да-а, есть у нас еще единичные трудности,— вздыхает Петр Петрович,— зато вот, как от шпионов поизбавимся, совсем другая жизнь будет». «А интересно, если не секрет, где же вас так всего пулями изрешетило?» — переводит разговор на другую тему Карл Паулевич. «Не секрет,— охотно объясняет Петр Петрович,— это тайна. Брали отряд диверсантов на мыловаренном заводе. Не ваших случайно рук дело?» «Ну, зачем так говорить! — обижается Карл Паулевич.— Вы же прекрасно знаете, что я последнее время активно занимаюсь проникновением на одну вашу секретную фирму». «Ой, не смешите меня, ей-богу,— фыркает Петр Петрович,— да вы анкетой не вышли — проникать на наши секретные фирмы». «Да-а,— вздыхает Карл Паулевич,— тяжелая у нас работа». «Так точно,— соглашается Петр Петрович.— Я вам, Карл Паулевич, по-соседски совет один хочу дать. Вы шпионить шпионьте — я понимаю: работа у вас такая, только, прошу вас, с наркотиками не связывайтесь. Опасное это дело, сплошная мафия». «Да неужто я не понимаю, меня и в центре предупреждали». «Ну, знаете, центр центром, а сосед соседом».

Так и беседуют, бывало, допоздна. А утром встают и идут на службу. Каждый на свою.

Рисунки Виктора КОВАЛЯ



Владимир ДРУК

* * *

рожденный ползать зачем летает?
рожденный ползать летать не может!
рожденный ползать летать не должен!
зачем летает?

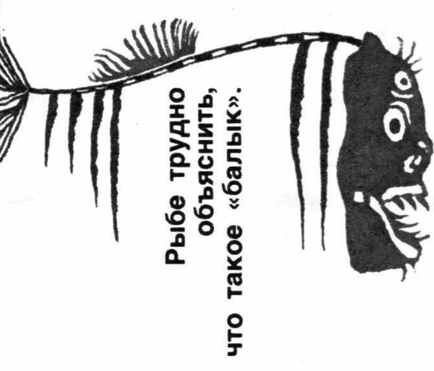
рожденный ползать не может ползать
рожденный ползать не хочет ползать
не может больше не хочет больше
вот и летает!

* * *

Когда приходят за тобой,
Когда приходят за тобой,
Когда приходят за тобой,
Так трудно быть самим собой...

«МЫ ГОВОРИМ»

Виктор ШЕНДЕРОВИЧ



В литературном музее экспонировалось чучело положительного героя.

Что это за престиж, если его все время надо поддерживать?

Сначала ломают хребет, потом называют это перегибом.

Может быть, колесо истории просто не рассчитано на наши дороги?

Нолики любят ставить крестики.

Хорошо подкованные Пегасы почему-то плохо летают.

Если цирковой медведь поднял лапу, это еще не значит, что он «за».

Собака Баскервиллей — это Муму, которая выплыла.

Земельное товарищество «Черная сотка».

Когда уходить с корабля крысе, если она капитан?



Эволюция миллионы лет расправляла человека, но так и не сделала его несгибаемым.

Когда истину долго отстаивают, вера выпадает в осадок.

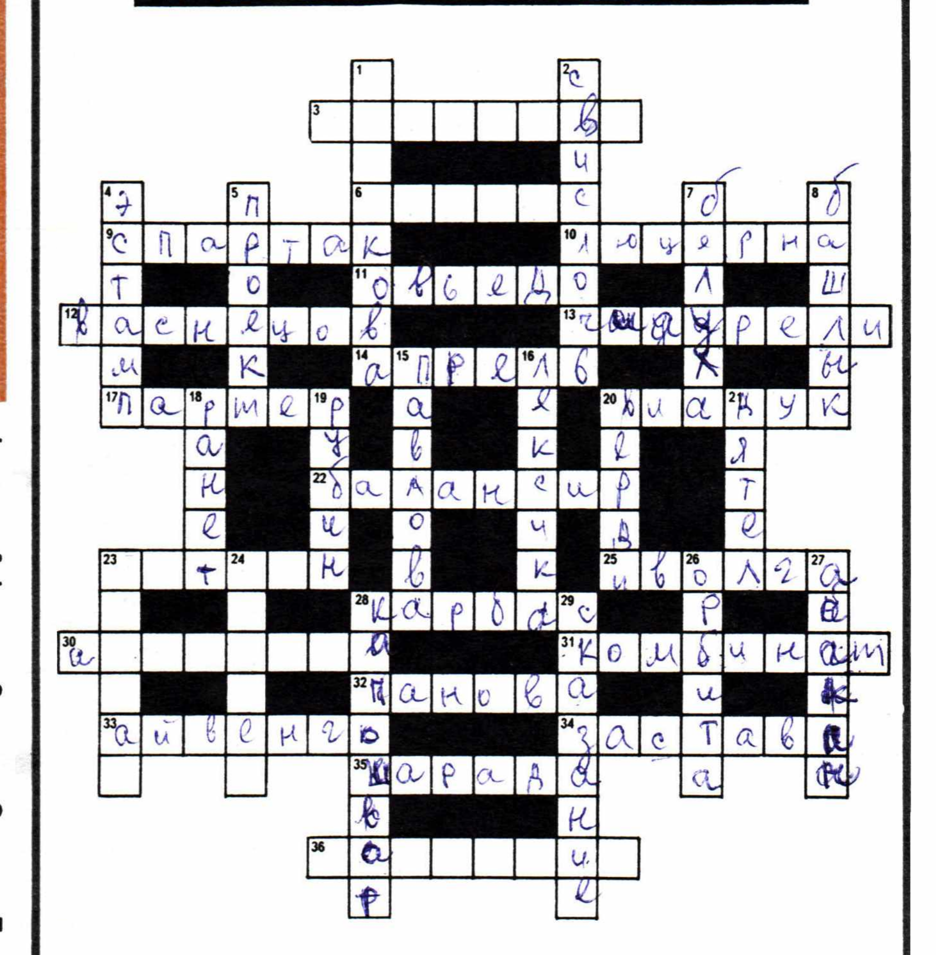
То, что стоит особняком, труднее сносить.

Да здравствует смычка города с потемкинской деревней!

И противогаз может стать лицом эпохи.

Материалы подобрал Игорь ДВИНСКИЙ.

КРОССВОРД



ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

3. Советская гимнастка, неоднократная олимпийская чемпионка. 6. Мелкая промысловая рыба. 9. Всесоюзное спортивное общество. 10. Кормовое бобовое растение. 11. Город в Испании. 12. Русский живописец-передвижник. 13. Народная артистка Грузии и Армении. 14. Месяц календарного года. 17. Нижний этаж зрительного зала с местами для публики. 20. Мост через овраг, ущелье. 22. Регулятор хода часового механизма. 23. Ученый-физик, участница движения Сопротивления, лауреат международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами». 25. Лесная певчая птица. 28. Большая лодка для рыбного промысла на Севере. 30. Русская поэтесса. 31. Объединение промышленных предприятий разных отраслей. 32. Советская писательница. 33. Роман В. Скотта. 34. Пограничное воинское подразделение. 35. Игра-загадка. 36. Музыкальное произведение эпического характера.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Советская спортсменка, неоднократная олимпийская чемпионка в лыжных гонках. 2. Приток Березины. 4. Станковая гравюра или литография. 5. План, замысел. 7. Полярный дельфин. 8. Капюшон, надеваемый поверх головного убора. 15. Русская балерина. 16. Словарный состав языка. 18. Сорт яблок. 19. Драгоценный камень. 20. Выдающийся итальянский композитор. 21. Птица, уничтожающая насекомых — вредителей леса. 23. Стихотворение А. С. Пушкина. 24. Плоский срез кормы шлюпки, яхты. 26. Путь движения космического аппарата. 27. Приток Енисея. 28. Город в Венгрии. 29. Предание, легенда.

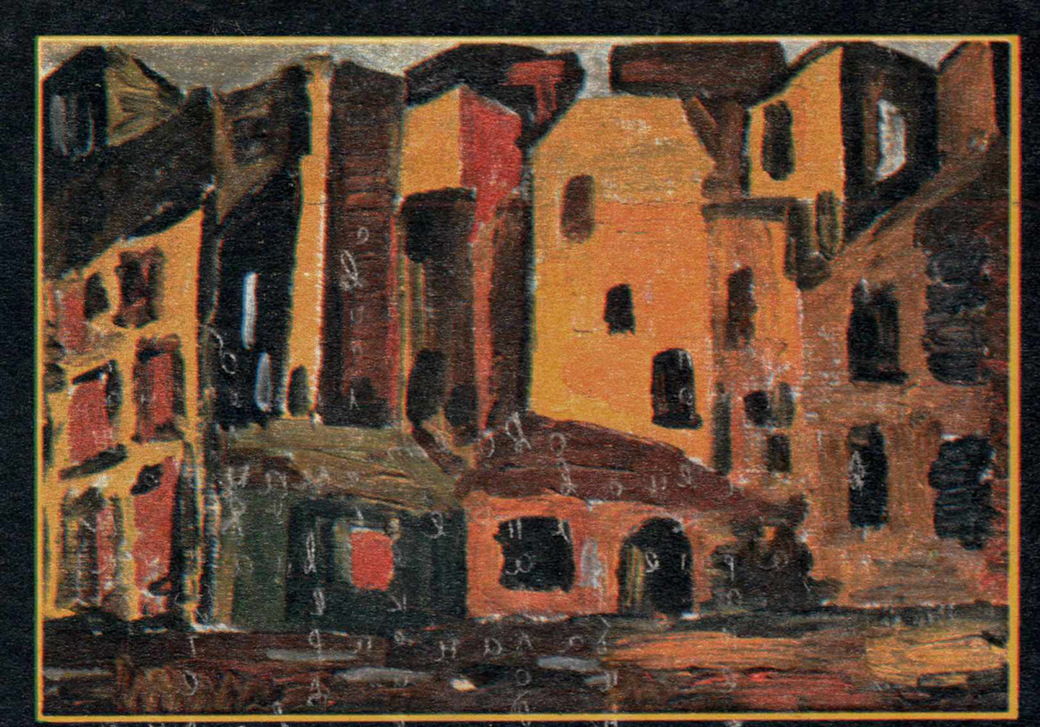
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, НАПЕЧАТАННЫЙ В № 9

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

5. Авилов. 7. «Катюша». 8. Драченко. 9. Ракетчик. 11. Орловский. 13. Волга. 15. «Норма». 17. «Школа». 19. Котик. 20. Гашек. 22. Омела. 24. Вершигора. 27. Интеграф. 28. Шлемофон. 29. Изотов. 30. Выборы.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

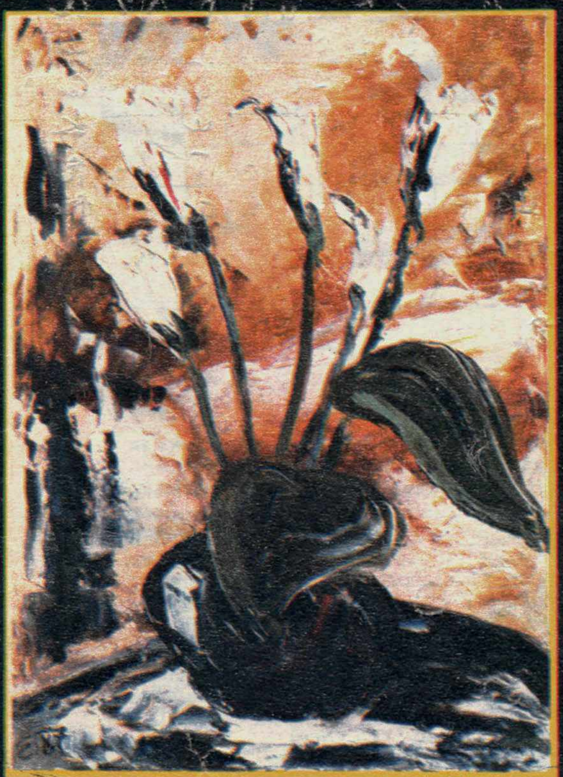
1. Скворцов. 2. Башкирка. 3. Случь. 4. Стать. 6. «Венера». 7. Кикоин. 10. Автоматчик. 11. Огнивцев. 12. Йокохама. 14. Октава. 16. Маршал. 17. Штык. 18. Арык. 20. Гарнизон. 21. Кедров. 22. Оргеев. 23. Аэродром. 25. Честь. 26. Домби.







40 коп.
Индекс 70663









В шесть лет Катю Григорьеву отдали учиться в художественную школу для одаренных детей. Первыми ценителями ее дарования были... клиенты сапожной мастерской, располагавшейся в ее доме. Она приносила сюда свои рисунки, и люди рады были отвлечься от проблем набоек и каблуков.

— Кто это рисовал? — спрашивали они.

— Я! — отвечала Катя.

Но ее рисунки, видимо, нравились не всем взрослым. Во всяком случае, после средней школы она продолжила свое образование в радиотехническом техникуме. А потом — двадцать шесть лет работы техником-инструктором, инженером-программистом в НИИ. И только в свободное время — за мольбертом.

И вот этой весной, после долгого перерыва, случайно зайдя к ней в гости, я увидел ее новые картины. И, как некогда клиенты сапожной мастерской, я не удержался, спросил:

— Кто рисовал?

— Я, конечно,— ответила Катерина.

Она не теряла времени даром. Все эти годы, что мы не виделись, она писала. А когда два года назад поняла, что это и есть ее призвание, бросила свою кибернетику, не посчиталась ни со стажем, ни со стабильным своим положением.

Леонид ПЛЕШАКОВ